

**СИН
ТАК
СИС**



29

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

29

ПАРИЖ

1990

Журнал редактирует :

М. РОЗАНОВА

**The League of Supporters: Л. Баткин, Л. Богораз,
Т. Венцлова, Ю. Вишневская, И. Голомшток,
А. Есенин-Вольпин, Д. Каминская, П. Литвинов,
М. Окутюрье, В. Турчин, А. Френдли, Е. Эткинд**

Московский представитель журнала — Татьяна ТОЛСТАЯ

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

© SYNTAXIS 1990

Адрес редакции :

**8, rue Boris Vilde
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE**

Вл. Новиков

ДЕТСКИЙ МИР

Закончил рукопись — случается такое. Отнес, как всегда, в "Совиздат". Люди там хорошие, отношение чуткое:

— Все отлично, ставим вас прямо в план 2222 года. Если будет бумага.

Да, думаю, может быть, тогда уже сразу в "Литературные памятники"? По срокам как раз подойдет. Но тут друзья мне рассказали, что в "Литпамятниках" с бумагой тоже туго. Вся бумага — у СП. Не у Союза писателей, а у совместных предприятий, лучшие из которых — "Интерхрен" и "Интерфиг".

После некоторых раздумий выбираю "Интерфиг" — советско-византийское заведение. Иду по темным коридорам, забитым бумажными рулонами: офсетная, книжно-газетная, туалетная. Вот это фирма! Пробираюсь в комнатку, сплошь уставленную компьютерами. Между ними мальчик сидит.

— Не скажете, где здесь директор? — спрашиваю.

Я даже к собачке незнакомой не могу на "ты" обратиться, и это, оказывается, не так уж плохо, потому что мальчик отвечает:

— Я директор. Генеральный.

Это уже потом я узнал, что в Москве сейчас каждый второй подросток — генеральный директор чего-нибудь.

— Книгу мою можете издать?

— Можем.

— А когда?

— Завтра.

И смотрит на меня так серьезно — как Станкевич из телевизора. Ну, и что такого, думаю. Марья Васильевна вот тоже быстро издает. А тут столько компьютеров!

— Ладно, — говорю, — согласен на завтра.

— А какой вам гонорар нужен? — генеральный директор спрашивает. — Сколько вам в других издательствах платят?

— Ну, за лист — триста...

— Нет, триста тысяч мы дать не можем. Сто тысяч за лист подойдет?

...Всю ночь заснуть не мог. Ведь такие деньги истратить за оставшуюся жизнь практически невозможно. Буду их, как Настасья Филипповна, пачками в печку...

...На следующий день прихожу в назначенное время, а там уже никакого "Интерфига" нет. На его месте — кооперативная шашлычная "Анус". Рукопись, где рукопись моя? А, вот она: шашлык в нее заворачивают.

Да, такие вот детские дела. Все здесь понарошке. И еще я заметил одну особенность: у нас люди как-то не успевают побыть взрослыми, стадию ответственной зрелости все быстро проскакивают. Ребенок вмиг оборачивается старичком, Володя Ульянов — дедушкой Лениным. То он еще не отвечает за свои слова и поступки, то уже не отвечает.

Была у нас такая игра: выискивать в томах классиков, что они написали в нашем теперешнем возрасте. Вполне невинная забава, да и поэзия на нее в какой-то мере рассчитана, она свое "я" щедро дарит каждому.

Теперь уже не обратишься ни к Пушкину, ни к Блоку, ни к Хлебникову. Они все уже значительно меня моложе. Правда, еще можно Пастернака запросить. Что он там?

Когда я устаю от пустозвонства...

Кстати, ахматовского "вечного детства" не понимаю. О бытовой личности поэта не сужу, не знаю, но что меня, например, в "Сестре моей — жизни" всегда удивляло — это взрос-

лость взгляда, умение столькое увидеть и назвать. К двадцати семи годам он уже так жизнь распробовал, как большинству людей и за десятки лет не удается.

Честно говоря, завидую настоящей взрослости, когда ее где-нибудь и в ком-нибудь вдруг замечу.

И не люблю детскости. В нас всех слишком много инфантилизма, чтобы его еще оправдывать и поощрять. Конечно, это удобная позиция, форма самозащиты — придуряться, притворяться ребенком. Но ведь никому на самом деле не хочется, чтобы с ним другие вели себя как дети. Потому что взрослая "детскость" — это несамокритичность, безответственное отношение к жизни и смерти, нечувствительность к чужой боли. Страна "вечного детства" — это в конечном счете страна малолетних преступников, диктатура шпаны. У нас это уже было и еще может быть.

Было у нас такое кино — "Семнадцать мгновений весны" — неиссякаемый источник смеха, постоянный объект анекдотического пародирования. Когда этот фильм показывался впервые, я работал в школе. Детишки, игнорируя слащавого Штирлица, обожали обаятельного Мюллера и на уроках писали друг на друга характеристики: "Миша Петров, истинный ариец, характер нордический, предан рейху, порочащих связей не имел..."

Смех смехом, но когда, сколько-то лет спустя, в Москве прошли первые митинги юных гитлеровцев со свастиками, я прикинул: это ведь как раз ровесники тех моих школьников.

А вот несколько месяцев назад по телевизору выступал главный редактор "Военно-исторического журнала" — такой миленький мальчик-генеральчик, пришел не в мундире, а в свитерочке, улыбался застенчиво. Потом напечатал "Майн кампф": сбылась мечта кое-кого из наших соотечественников, в том числе, конечно, и литераторов.

А у нас опять неологизм — "приватизация". Люблю слово "приватный", но оно убито суффиксом. "Изация" — это суффикс разрушительной бессмысленности ("коллективизация"), либо заведомой невозможности ("демократизация"). У нас ведь у всех детское отношение к собственности, мы всегда готовы ча-

сы на трусы поменять. Признаюсь откровенно, что каким-нибудь красивым фломастером дорожу гораздо больше, чем автомобилем, и потерю любимого пустика переживаю сильнее, чем настоящие убытки. А почему другие должны быть умнее меня? Нет, владеть — это слишком взрослое дело!

Читаю в прогрессивном журнале длинную прогрессивную статью на тему "Коммунисты в жизни и в литературе". Хорошее такое школьное сочинение. Только раньше, чтобы получить пятерку, надо было коммунистов хвалить, а теперь, естественно, наоборот. Спорить не приходится, но насколько бы интереснее это читалось, если поотчетливее был бы прорисован образ автора статьи, вступившего в КПСС с целью занять небольшую журнальную должность, а теперь выбывшего из рядов, чтобы избавиться от членских взносов и моральных неудобств. Тоже детская такая позиция: я — это одно, а они все — другое.

Но не нравится мне и новая мода, когда в биографиях лиц, претендующих на популярность, пишут: в КПСС не вступал (а). Сам я вот ни в какой партии не состоял, но ни малейшей заслуги в этом не вижу. Так же и о других думаю. Иной, знаете ли, вроде и б/п, а на самом деле — и бэ, и пэ...

Ну, не были мы в партии. Некоторые не были и в комсомоле. Кто-то, может быть, даже миновал пионерскую организацию. Но покажите мне того, кто не вступал в октябрята или выбыл из них по идейным соображениям. Ему я поверю. А так — нечего изображать невинность.

А еще есть такая детская хитрость: я, мол, ни с левыми, ни с правыми. На взрослый язык это переводится просто: значит, с правыми. Более развернуто: ладить с правыми, но быть защищенным от критики и недовольства слева. Ведь "правизна" у нас означает не консерватизм, а нечто иное.

Евтушенко в каком-то интервью с детской непосредственностью хвастается, что побывал в девяносто двух странах. Думается, давно уже пора присудить ему значок "Юный турист".

Помните, у Жванецкого: "Ну, прэсса. От прэсса!" Так вот

у нас новость: "пресса" кончилась. Иссякла.

Ничего страшного! Это все закономерно. Четыре-пять лет "пресса" открывала всем на все глаза. И открыла-таки! А теперь уже надо что-то придумать и сделать, чтобы не сливаться всем прогрессивным изданиям в одно, не выглядеть одинаковыми мальчиками-журналичками и девочками-газетками. К тому же "антипресса" действует хитро: повтором, подражанием. Загляните хоть разок в "Правду": она тащит то, о чем "Огонек" писал три года назад. Теперь она признает дефицит продовольствия, с удивлением отмечает, что на Западе простые люди живут неплохо...

Но, черт возьми, сколько все-таки настоящей правды, без кавычек, распечатано и какими тиражами! Этого уже ни в какой спецхран не запихнешь. С этим можно справиться уже разве что кострами на площадях... (Типун мне на язык!)

Прощай, "пресса"!

До следующей перестройки!

Мучительное ощущение зрелости. Каждый день отбрасываешь какие-нибудь второстепенные мелкие мечты, расстаешься с наивными желаниями. Всех детских ошибок уже не исправить, да что там — и половины не исправить. И о том, чтобы получить что-нибудь, уже не может быть речи — успеть бы отдать... Не знаю, сколько там и каких лет впереди, но вот это время очень дорого:

Неужто вправду, кроме шуток,
Весь этот всплеск, разбег, разлет —
Всего лишь краткий промежуток,
Из детства в старость переход?

Жестокий инфантильный век уходит в историю. Уходит под аккомпанемент вздохов и нытья. Опять люди свой естественный и неизбежный конец малодушно принимают за конец света. И при этом лицемерят еще: "Мы-то что, детей жалко!.."

Пожалейте лучше себя, бывшие октябрята и постаревшие пионеры! А у детей, как бы ни было бы все кругом ужасно, все же остается еще шанс созреть и повзрослеть.

В. Порудоминский

НАЧАЛО МАРТА

Семейные мелочи 1953 года

В центральном комитете комсомола я был единственный раз в жизни — 1 марта 53-го года. Не лучший день моей жизни, думал я, проходя между двумя вооруженными охранниками, одетыми в форму солдат внутренней службы, в мрачную, освещенную тусклой желтой лампочкой приемную, — откуда мне было знать в ту минуту, чем он закончится, этот величайший день отечественной истории. Впрочем, он уже и заканчивался, дело было вечером, семь часов, или восемь, или, может быть, девятый, — жили тогда, не задумываясь во времени, о времени-часах, да, пожалуй, и о времени, в котором жили...

Причина моего появления в сером здании у Ильинских ворот состояла в том, что я третий месяц после возвращения из армии не мог устроиться на работу и теперь, на исходе третьего месяца, уже не сомневался, что все мои попытки не просто безнадежны, но бессмысленны.

Признаюсь, у себя в полку я никак не предполагал такого поворота событий, — может быть, в штабах, между людьми с двумя просветами на погонах уже ходили какие-либо установки или хотя бы слухи, но в среде моего повседневного обитания — в казарме, на учении, даже в ленинской комнате (так называли, а может, и ныне называют в армии красный уголок), моими собеседниками, если брать начальство, были по большей части люди чинов невысоких, хорошо ротный, а так — взводные, либо батарейный замполит, лейтенант Володя Савельев, круглолицый, румяный, голубоглазый блондин с "огоньковской" картинки (если тогда в "Огоньке" уже печатали цветные репродукции).

Воинская служба нашего замполита омрачалась непрекращавшейся, бесконечно разбираемой в административном и пар-

тийном порядке тяжбой с женой, парикмахершей, худенькой, восточной женщиной с выпуклыми, влажными глазами газели (отдадим дань штампу), искренне полагавшей, что побрить и постричь клиента, даже с одеколоном и горячей салфеткой на лицо, вовсе не значит обслужить его полностью; наш замполит на этот счет имел свое мнение, каковое, не в силах найти убедительных слов (возможно, приберегаемых для утренней политинформации) выражал более действенным, как ему представлялось, способом. Так, что и замполит Володя Савельев, с которым я вел диалоги на темы внешней и внутренней политики (не содержавшие, добавлю, по обычаю того времени ни малейшего полемического начала: каждый из собеседников очередной репликой лишь поддерживал предыдущее высказывание товарища), даже Володя Савельев из-за всеобщей тогдашней неосведомленности о замыслах власти, неосведомленности, усугубленной к тому же личными невзгодами, никак не мог предсказать, что меня ожидает на гражданке.

В декабре 52-го ко мне в часть позвонил мой приятель Витька Сакулин, благодаря выдающимся способностям в каллиграфии и черчении пристроившийся в штабе округа, потребовал меня к телефону, что вызвало у моего начальства некоторое смятение (шутка ли, из штаба округа — и меня!), и сообщил весело, что получен приказ на нашу с ним демобилизацию, что он сам теперь все быстренько оформит и чтобы я был готов ехать. И правда, десяти дней не прошло, мы с ним, как кумы королю, валялись на верхних полках великолепного некупированного вагона, имея при себе довольствие в виде нескольких буханок хлеба, большого бруса масла и четырех или пяти палок полукопченой колбасы, между тем как однообразные станционные буфеты предлагали нам обветренные бутерброды с красной икрой, пылившиеся на полках до самого потолка банки с крабами, имевшими на боку надпись "снатка" латинскими буквами, то есть "чатка", за что и именовались народом, не видевшим в них прока, по-русски "снаткой", а также не пользовавшиеся спросом банки с мексиканским ананасовым компотом, в которых плотно лежали одно на другом залитые липким соком ароматные, мясистые колечки диковинного фрукта, ну, и конечно, повсеместную водку в разлив — спортивные буфетчицы в нечистых белых халатах и жакетах с закатанными рукавами ловким мгновенным движением отбрасывали в сторону пробку за пробкой, проворно прикасаясь к краям расставленных на влажном прилавке стаканов, быстро, "на глазок", с бряканьем и звяканьем нетерпеливых дорожных колокольцев разливали прозрачную влагу.

Поначалу станции шли частые и мелкие — служебное помещение, сарайчик для ожидания, буфетный ларек. То отступая в тундру, то приближаясь к самому пути, тянулись высокие тесовые заборы, увенчанные колючей проволокой в несколько

рядов и сторожевыми вышками. В одном месте, где забор оказался возле самой линии железной дороги и как бы несколько ниже насыпи, поезд вдруг притормозил и остановился, может быть, всего на минуту-другую, из окна была видна группа плохо одетых людей, возводивших какое-то бревенчатое сооружение в углу лагерного двора, люди, заметив неожиданно остановившийся состав, перестали работать и, поворачивая головы в его сторону, медленно распрямляли спины и опускали руки, с нескольких вагонных площадок, где, расстегнув на морозе ворот гимнастерки, курили подвыпившие демобилизованные, полетели через забор ржаные буханки, смуглый круглолицый часовой с раскосыми глазами, ни слова ни говоря, повернулся к вагонам, прижал приклад автомата к животу, чуть повыше лобка, и направил ствол в сторону тех, кто бросал хлеб; лицо у него было непонятное — может быть, и не станет стрелять, а может быть, непременно стрельнет; заключенные снова взялись за свои бревна; поезд загудел и медленно тронулся дальше.

Потом пошли уже большие города, на вокзалах радио кричало бодрые песни, висели портреты вождя в окружении лозунгов, взятых из решений недавнего 19-го съезда партии, на перронах было многолюдно, и многолюдство это двигалось, разговаривало, смеялось, утирало слезы, махало рукой на прощанье, шумное дыханье мегаполисов томило надеждами.

Если что и мешало мне тогда в полной мере насладиться этими пьянящими надеждами, то никак не та реальность, о которую я расквасил нос спустя считанные минуты после того как отворил дверь родного дома и которой, еще раз признаюсь, не предвидел, закусывая очередные сто грамм ломтем хлеба с колбасой или извлеченной из банки на конце перочинного ножа бледно-розовой пластинкой краба; если что и бросало черную тень на будущее, так это тревожная мысль о скорой войне — как-то все сгустилось там, в войсках, в последние месяцы службы: никто ничего не знал, но между офицерами все чаще возникали разговоры о необходимости упреждающего удара, и говорили об этом непривычно не таясь, не опасаясь того, что говорят об этом; сверхсрочные же сержанты и старшины из числа моих приятелей, прощаясь со мной, не сомневались, что еду я домой ненадолго — вот-вот война, и, хотя весь срок службы освещался и согревался ожиданием ее, то есть службы, окончания, теперь, когда мечта сбывалась, вдруг начинало назойливо лезть в голову, что, ежели и впрямь война, так оно, может быть, и в самом деле лучше встретить ее солдатом, в своей части, не расслабившись и не растравивши душу свиданием с близкими и разного рода соблазнами гражданской жизни.

Дома, однако, опорожнив лишь первую тарелку принятых у нас в семье по торжественным случаям пельменей, я уже понял, что забота приближающейся войны лично для меня сей-

час не первейшая забота, ибо в грядущих сражениях мне скорей всего не доведется узнать, насколько крепка наша броня и танки наши быстры; о деле врачей-убийц еще не было объявлено, но аресты врачей-евреев, в основном из числа профессоров сделались уже массовыми, и, услышав имена тех, кого постигла тяжкая участь, я не столько радовался тому, что застал папу дома, сколько поражался тому, что — застал. Мама с чьих-то слов рассказывала о составляемых по домоуправлениям списках евреев-жильцов, о приготовленных на подмосковных станциях пустых эшелонах — по слухам, евреям предстояло разделить судьбу чеченцев, калмыков, крымских татар, но не в ссылке вообще, а в каких-то концентрационных лагерях-резервациях (недавно мне рассказали, что высылка евреев была назначена на ночь с 30 апреля на 1 мая 1953 года: подготовка к военному параду должна была сделать менее заметной сосредоточение войск и движение колонн).

Слушая маму, я вспомнил одну близкую мне семью, мужа и жену, которых недавно навестил, когда, будучи в командировке, ночью, на несколько часов, оказался в Вильнюсе. Почтував в дверь, я разбудил этих людей и напугал их; сидя со мной за столом — она в вязаном вишневого цвета платье (по каким-то трудно воспроизводимым приметам мне показалось тогда, что она так и спала в нем до моего прихода), он в пижамных брюках и пиджаке поверх теплого сиреневого белья (хотя в доме было хорошо натоплено), — они радовались тому, что видят меня, и тому, что ночным гостем оказался я, а все не в силах были унять тревогу. Мы выпили по стаканчику домашней вишневой наливки, и они показали мне два небольших уложенных заплечных мешка, приготовленных в прихожей — "на всякий случай". У этих людей, у мужа и жены, то, что, возможно, предстояло им прожить в обозримом будущем, уже однажды было в прошлом: в недавние военные годы они, тогда еще совсем юные, почти мальчик и девочка, оказались в немецком гетто, где вскоре погибли все их родные, оба чудом уцелели и теперь ждали, что все может начаться снова. Женщина, за столом у которой я сидел в ту ночь с чуть липнувшим к пальцам стаканчиком наливки, рассказала мне, что ее сослуживица, литовка, неделю-другую назад ездившая в деревню, шепнула ей по возвращении: на запасных путях вокруг города и на ближних станциях стоят пустые товарные составы; говорят, что скоро будут вывозить евреев. Моя собеседница знала, как это делается: накануне войны, здесь, в Вильнюсе, она видела как вывозили литовцев. На вокзале, в стороне от главного перрона, вытянулся длинный состав — красные товарные вагоны, битком набитые людьми; в одних вагонах томились женщины с детьми, в других мужчины, двери вагонов были наглухо закрыты и крест-накрест заколочены досками, из небольших четырехугольных отверстий, вырезанных в нижней части

двери, стекали нечистоты. Лето было жаркое, люди в вагонах страдали от духоты, от жажды, стонали, кричали, стучали в дощатые стены, — напрасно; когда к вагонам приближался кто-нибудь — с буханкой хлеба, бидоном молока, ведром простой воды, стоявшие вдоль эшелона цепью часовые, солдаты НКВД, отгоняли милосердных. Той ночью в Вильнюсе, потягивая густую наливку и беседуя с дорогими мне людьми, я краем глаза посматривал на два небольших заплечных мешка, круглившихся под вешалкой в прихожей; хозяева не казались мне безумцами: страна давно не ведала ночного покоя, но в ту ночь я не почувствовал вполне весомости их опасений.

Возвратившись с армейской службы, после столь долгого отсутствия, я лег спать с женой полуодетый, ужасаясь даже мысли, что могу предстать перед "ними" обнаженный; по ночам я прислушивался к гудкам и шороху проезжавших под окнами автомобилей, — очень хотелось, чтобы ни один из них не останавливался возле нашего дома, но, случилось, останавливался, шуршание шин смолкало, в уличной тишине гулко стучал мотор — пока вылезали пассажиры, потом дверца хлопала, и — счастье! — машина, взревев, уносилась дальше, становилось совсем уже тихо, и я слышал, как в соседней комнате скрипели половицы, это мама, подходившая к окну, возвращалась на свой диван. Папа, между тем, мирно похрапывал; известное дело: легче болеть, чем над болью сидеть.

Папа был так неизбежно обречен, что эта неизбежность по-своему даже облегчала для него его положение, не оставляя возможностей что-то предпринимать, чтобы уцелеть. Он, правда, не обладал ни мрачным пессимизмом, заставлявшим желать, чтобы скорей случилось то, что должно случиться, ни безмятежным оптимизмом, помогающим не терять надежду в самом отчаянном положении; ему, на его счастье, свойственна была способность с головой уходить в дело, которым он был занят сегодня, — какая-нибудь лекция, которую ему предстояло прочитать утром, больше его волновала, больше отнимала у него сил духовных и душевных, нежели то, что могло произойти ночью.

Лет десять спустя папа хаживал в больницу к одному своему еще с двадцатых годов товарищу и коллеге, и тот у последней своей двери поведаль, как получилось, что папа, вопреки неизбежности, уцелел зимой 53-го. Папу решено было "использовать" в открытом процессе, материалы для обвинения участников которого подбирались более тщательно, чем для остальных, подлежащих скорому суду "троек" (или как так их еще называли, эти "особые совещания"), хотя и тем и другим уготован был общий могильный ров или общая каторга. Умиравший теперь папин товарищ и коллега привлечен был следователем в качестве эксперта; материал, как он был подобран, отличался совершенной несостоятельностью, на что умиравший

теперь папин товарищ и коллега не побоялся указать обвинителям; ему было поручено подготовить новый материал, чем он и занялся, выказывая при этом — Царство ему Небесное! — сугубую основательность и тщательность. Странная щепетильность (или вечная наша странность — умом-то не понять!): тасовали доносы, ломали ноги Вовси, цепляли кандалы на старика Виноградова, едва не любой, попавший в "их" обработку, готов был сам на себя составить отменный обвинительный материал, — ан нет, вдруг понадобились документы, эксперты... Но до того, чтобы узнать про все про это, надо было дожить, а прежде дожить до утреннего раннего звонка по телефону: приятель нашего семейства, успевший прочитать свежий номер газеты от 4 апреля 1953-го с опровержением дела врачей-убийц, страшась повторить по телефону то, что в газете, в ЦО, в "Правде" прочитал, произнес конспиративным голосом: "Вы читали "Правду"? — "Нет. А что? Хорошее или плохое?" (последние слова уже торопливо, чувствуя, что сейчас положит трубку!) — "Как будто — хорошее" — и ту-ту-ту... трубка брошена. И еще прежде надо было дожить до того марта, о первом дне которого идет речь в нашем повествовании, до всего этого надо было дожить.

13 января в газетах появилось сообщение о врачах-убийцах, агентах "Джойнта", дотоле никому неведомого (евреи) и английской разведки (несколько русских профессоров); с этого времени периодическая печать соревновалась в статьях и фельетонах все на один и тот же незамысловатый сюжет — о совершающих чудовищные преступления злодеях-евреях и ротозеях с нееврейскими фамилиями, по беспечности и отвычке от бдительности неспособных злоумышленников изобличить. Город переполнили слухи о спичечных коробках с микробами, оставленных на прилавках газетных киосков и сидениях театральных кресел, о страшных болезнях, вызываемых уколами, которые преступная рука наносит пассажирам в толчее городского транспорта, о детях, искалеченных евреями-врачами еще в родильных домах. Мама, возвращаясь из своей поликлиники, рассказывала о возбужденной толпе больных в регистратуре у стенда с фамилиями принимающих врачей — большие требовали, чтобы их не записывали к врачам с еврейскими фамилиями (фамилий "нейтральных", на "ский", например, тоже опасались).

Уже после разоблачений 20-го съезда случай послал мне встречу с полковником МВД, который просил меня найти для его сына консультанта-невропатолога: "Мальчик имел несчастье появиться на свет, когда врачи в родильных домах (он деликатно не сказал — евреи), как известно, делали новорожденным укол в темячко". Ах, это волшебное "как известно"! Самый могучий, самый несокрушимый аргумент! (Удерживаюсь от жгучих фактов нашего сегодня, которые так и лезут под перо...)

Забавное совпадение: именно 13 января, в тот самый день, когда в газетах появилось сообщение о врачах-убийцах, я, отгуляв положенный отпуск, отправился восстанавливаться на работу в издательство, где до армии работал младшим редактором. Издательство было техническое, и должность незаглядная, но и туда устроиться было непросто — "пятый пункт" действовал вовсю. Месяца два после окончания института я ходил без работы, помог случайный блат, не хочу вспоминать подробности (они постыдны и неинтересны) — новоиспеченные специалисты, обремененные злосчастным пунктом, сразу узнали, почем фунт лиха, — борьба с космополитизмом, раскрытие псевдонимов и прочие акции той поры отточили бдительность кадровиков.

Моему другу Саше, воевавшему еще с финской, вечному факультетскому партийному секретарю, чуть ли не через райком нашли какую-то должностишку в Музее Советской Армии, но ПУР зорко следил за чистотой рядов: извините, ошибочка, то ли место как раз накануне ликвидировали, то ли как раз накануне взяли на него другого. Саше не хотелось верить, что с ним этак без зазрения совести, глядя в глаза, — все-таки боевой стаж, и партийный, и выбитый осколком бедренный сустав, и четыре награды, не в канцеляриях выслуженные — на передовой: предложил Наталье, однокурснице и приятельнице, беспартийной школьнице вчерашней, сходить в Музей, попроситься на ту же должность — откажут и ей, значит не врут, легче на душе; возьмут — все ясно, зато хоть место Наталья достанется. Дня через три Наталья сидела за желтым канцелярским столом в забитом такими же столами тесном служебном помещении Музея: как новенькую ее пристроили под брюхом огромного чучела гнедого коня — на этом коне по имени Маузер товарищ Ворошилов, первый красный офицер, утверждал повсеместно власть рабочих и крестьян (впрочем, это мог быть другой, так сказать более поздний и менее исторический конь, но что Ворошилова и что Маузер — это точно). Я, однако, считал, что закон на моей стороне: пусть блат помог (это теперь никого не касалось), но до армии я работал — значит, по возвращении (я полагал) меня обязаны взять на прежнее место.

Я был так уверен в тылах, что — прежде чем окончательно замкнуться в пределах своего топливно-технического ведомства — отправился даже в одно издательство более солидное: добрая знакомая, там работавшая, очень меня рекомендовала своему начальству. Она при этом наивно умолчала именно о том обстоятельстве, о котором должна была сообщить в первую очередь, а моя нейтральная фамилия и величественные имя и отчество всегда оказывались предметом глубоких раздумий для сотрудников отделов кадров. Кадровик в этом издательстве, низенький, толстый, лысый, похожий на Хрущева, о котором мало кто вспоминал тогда, хотя до начала его вос-

хождения оставались считанные месяцы, встретил меня как родного сына: "А-а, здорово-здорово, давай-давай..." — он почему-то всякое слово повторял дважды. "Держи, держи..." — он протянул мне листок по учету кадров. Я потоптался, намереваясь выйти: после института я уже накопил опыт общения с отделами кадров и предпочитал, избегая устных вопросов, заполнять анкету наедине, после чего быстро передавал ее кадровику и также быстро уходил, чтобы справиться о результате по телефону — все это оберегая нервную систему свою и кадровиков (я, кажется, не допускал, что они отказывают мне с наслаждением, и стыдился вместе с ними). "Здесь, здесь, — этот лысый был ко мне очень расположен — он махнул короткой рукой на табурет, зажатый между зеленым сейфом и торцом письменного стола, обтянутого красным сукном, залитым чернилами, как географическая карта морями, — пиши, садись, пиши..." Пока я писал, то и дело тыкая ручку с несоответствующим тогдашнему наклону моего почерка пером рондо в пластмассовую чернильницу, почти пустую, он спросил, в каких войсках я проходил службу. Я ответил, что в танковых. "А я в пехоте, понимаешь, в пехоте, всю войну, брат, всю войну. И не царапнуло ни разу, ни разу не царапнуло — силен? А после войны, после войны уже, на охоте, товарищ на охоте поскользнулся, сукин сын, понимаешь, поскользнулся да как шарахнул мне дробью прямо в задницу..." — он остановился на мгновение и тут же взамен последнего слова предложил синоним: "прямо в жопу, понимаешь..." Потер ладонью лысую макушку: "Обидно, а? Обидно?..." С пылу с жару, не дожидаясь пока просохнет, схватил мою анкету за уголок, потянул из-под моих рук, перевернул, привычно черкнул по ней взглядом — нахмурился, прочитал опять, медленнее, и еще раз, слегка шевеля губами. Сунул бумагу в распашную кожаную папку: "Ладно. Пойдемте к главному". Он уже не повторял слова дважды. В кабинет главного редактора он меня с собой не взял, попросил подождать в приемной, где в эту минуту никого не было, а сам исчез за обшитой кожей дверью, прикрытой еще оранжевой плюшевой занавеской с помпончиками по краям. Он не затворил за собой плотно дверь, я подошел к ней поближе, сделал еще шаг, и еще, пока тугой нитяной помпончик не коснулся моего лба. "Уюу, — доносился до меня высокий, почти бабий голос главного редактора, которого я не видел, — уюу! Еще и отец — медик; сейчас с медиками сам знаешь..." Из коридора в приемную вошла молодая женщина в очках, на вытянутых руках она несла перед собой грудку папок, которые сверху прижимала подбородком. "Главный у себя?" — спросила она сдавленным голосом и, не дожидаясь ответа, прошла в дверь за оранжевой занавеской. Тотчас оттуда появился кадровик, ожесточенно потер лысину ладонью: "Неувязка, понимаете, прислали уже на это место человека". Он мотнул головой, точь-в-точь лошадь, испу-

гавшаяся мухи, и показал глазами наверх, давая мне понять, откуда прислали. "Ясно", — сказал я. Он, задыхаясь, догнал меня в коридоре, быстро, будто пробую, не обожжется ли, коснулся пальцами моего локтя: "Диссонанс получается, еби его мать, а? Диссонанс..." — и исчез в каких-то дверях.

Я не желал больше испытывать судьбу, закон (я полагал) был на моей стороне, родное топливно-техническое издательство (я полагал) ждало отслужившего срок солдата. 13 января, как говорилось выше, я отправился на зады ГУМа, который в ту пору только по привычке именовался ГУМом, но не был таковым, занятый целым сонмом учреждений, — там, на задах, в переулке, в другом не менее густонаселенном здании поместилось на третьем этаже наше издательство, где, как мне представлялось, был готов для меня и кров, и дом, и законом обеспеченная должность младшего редактора. Я отправился на работу 13-го, потому что отпуск кончался и я заранее наметил себе пойти именно в этот день; появившееся же утром в газетах сообщение про врачей-убийц только подстегнуло меня: моя анкета тенденции к улучшению не обнаруживала, ухудшиться же каждый час обещала очень заметно, если не сказать — решительно...

Папины дела были совсем плохи. По утрам у ворот больницы, где размещался отдел, которым он заведовал, его встречал главный врач, некто Волков, могучего сложения мужчина, и вместо приветствия говорил сокрушенно: "Опять на тебя телегу в органы отправил. Калечишь советских людей. Тут такой-то на тебя донос сварганил. Я вернул, чтоб подработал. Напиши, говорю, что академик Павлова не уважает. Обещал к завтрешнему переделать".

Однажды, той зимой 53-го, папа, войдя утром в свой служебный кабинет, вдруг обнаружил, что письменный стол его сдвинут в темный угол, к двери, а на светлом месте у окна, где он находился прежде, поставлена большая удобная кровать с мягкой сеткой. Папа удивился: таких в больнице вроде бы и не бывало — все узкие, жесткие койки с плетеньем из стальных крючков и колец, оставлявшим глубокий ржавого цвета след на тощих больничных матрацах; на кровати же, поставленной у окна, сидел худощавый человек в пижаме, с очень бледным, до поражающей (и поразившей папу) голубизны лицом — нервным, то выразительно-подвижным, то вдруг как бы застывающим в какой-то тоскующей мраморной неподвижности, с серыми глазами, то сощуренными и остро поблескивавшими сквозь прищур, то остановившимися, большими, широко открытыми. Этот портрет, которым я предваряю описание событий (весьма незначительных в ряду тех, что творились в ту пору), конечно, чистой воды литература, даже литературщина, всего этого папа, конечно, в тот первый день знакомства, тем более, в первую минуту, и не разглядел от неожиданности,

портрет в воображении и рассказах папы составлялся постепенно, но теперь, когда вот уже три с половиной десятилетия портрет этот существует, не лучше ли предварить им описание для полноты создаваемой картины.

Человек в пижаме сидел в папином кабинете на расставленной для него не по-больничному привлекательной кровати, на которой постелено было белое, свежее белье, если и испещренное черными казенными штампами, то аккуратнее обыкновенного; наверно, и одеяло необычному больному подобрано не такое, как у всех, не серую, вытертую до прозрачности байку в коросте неотстирываемых пятен от пищи, мазей и нечистот, наверно, нашли для него на складе какое-нибудь не бывшее еще в употреблении, мягкое, с ворсом, зеленое или оранжевое, украшенное растительным орнаментом, — непонятный этот человек сидел на кровати в папином кабинете и читал газету, повернув газетный лист к окну; папа же, в немой сцене, как принято выражаться, замер на пороге, но тут за спиной возник главный врач Волков и, крепкой рукой самбиста втолкнув папу в кабинет, объявил ему, что сидящий на кровати новый больной является ответственным сотрудником, которого негоже помещать в общую палату (а отдельных в больнице, как известно, не водится). Что же до того, что в кабинете появляются работники отдела по своим ученым и иным делам, а также что сюда приводят на консультацию пациентов, то тут уж надо постараться, поменьше мешать товарищу.

Теперь это кажется невероятным, но в том, что я сейчас пишу, нет ни слова выдумки, это уже не литература, не сюжет, это теперь кажется невероятным, а тогда была чистой воды реальность: с этого часа и в течение двух или трех недель в служебном папином кабинете обитал этот "ответственный сотрудник", человек, как требует того его профессия, молчаливый, впрочем, о чем было ему беседовать с евреем-профессором, хотя и не объявленным пока, но бесспорно разоблачаемым агентом империалистических разведок, не говоря уже о всемирной еврейской организации. "Ответственный сотрудник" был больным не папиного профиля, всякий день главврач Волков лично за ним являлся, уводил его на обследование и процедуры и приводил обратно; иногда, шумно придвинув к кровати ответственного товарища стул и не без труда расположив на стуле свое мощно-сбитое тело, Волков, не обращая внимания на происходящее в кабинете, заводил разговор, все больше о вражеских кознях и вылазках; "товарищ", правда, и с Волковым в беседе не вступал, в ответ на излияния главного врача лишь логично покачивал головой, то ли соглашаясь, то ли просто показывая, что слышит; наконец, тяжело опираясь на спинку чахлого больничного стула, Волков поднимался, больной же брался за свою газету или за обернутую в газету толстую книгу, которую читал обыкновенно не сидя, а лежа, читал очень медлен-

но, редко переворачивая страницы, читал очень внимательно, что по лицу его было видно, как бы напряженно всматриваясь в слова.

В кабинете между тем шла обычная, как говорится, трудовая жизнь: научные работники обсуждали свои статьи и методики, диссертанты читали готовые главы и пересказывали материал еще не написанных, — если бы папу арестовали, общение с ним поставили бы всем этим людям в строку, но опережать события, предвидеть было тоже опасно — не всякому позволялось разоблачать, хотя газеты и призывали к этому. Больничные врачи приводили в кабинет на консультацию больных, их осматривали тут же, на топчане, одни поглядывали при этом на сидящего-лежащего у окна человека с газетой или книгой, обернутой в газету, другие, взглянув, более не замечали, делали вид, что не замечают, или не желали замечать: все мы не просто привыкли к тесноте и неудобству, а как бы числили оные необходимым условием жизни — в мире лазаретов, бань, казарм, вокзалов, скверных гостиниц, дешевых квартир с углами и койками, коммуналок с проходными и запроходными комнатами, общежитий мы привыкли к обнаженности на людях, к посещениям у всех на глазах уборной, к путешествиям в одном белье по коридору коммунальной квартиры, к утренней неодетой очереди у крана умывальника, к кухонным обсуждениям тех тайн житейских, о которых и думать-то не всегда ловко и нужно, к общественным сортирам без кабинок, к санпропускникам, к тесным врачебным кабинетам, где врач и сестра занимают враз двумя или тремя больными, мы так ко всему этому привыкли, что будем ли, с великим трудом и терпением дождавшись места в больнице, приведенные к профессору на консультацию, будем ли сетовать при этом, что в углу на кровати есть еще кто-то; в палате, откуда нас привели сюда, вокруг на десяти-пятнадцати койках лежат люди — спят, стонут, справляют большую и малую нужду, едят холодную больничную кашу, умирают, подставляют ягодицу под укол, — ну, лежит в углу человек и лежит, нам-то что до того: глянул — и забыл. В кабинете шла обычная жизнь, и сам папа, как всегда захваченный тем, что надо сделать сегодня, сейчас, забывал о постороннем "ответственном сотруднике" и лишь изредка, вдрог спохватившись и обернувшись в его сторону, видел его сидящим с газетой или лежащим с толстой обернутой в газету книгой; иногда больной, отложив и газету и книгу, просто сидел у окна на кровати с мягкой панцирной сеткой, поверх матраца и белья покрытой оранжевым ворсистым одеялом с растительным орнаментом, сидел и смотрел на папу, и папа ловил на себе этот внимательный взгляд, — острый, из-под прищуренных век, или неподвижный взгляд больших, остановившихся глаз.

Так прошла неделя, наверно; однажды папа, придя с работы домой, сказал, с веселым недоумением пожимая плечами:

"Представь, мой постоялец сегодня утром со мной поздоровался". — "То есть — как?" — тотчас испуганно отозвалась мама: "как — поздоровался? почему? зачем? Может быть, еще чего-нибудь сказал?" — "Да нет, ничего больше не сказал, просто утром, когда я вошел в кабинет, сказал: здравствуйте, профессор". — "А ты? — спросила мама с трагически-страдальческим лицом (папа никогда не понимал с ходу ее страхов и ей приходилось мучиться примерно полчаса, чтобы ввергнуть его в то паническое состояние, которое ее никогда не оставляло). — Ты что ему ответил?" — "Ничего. Я и раньше с ним раскланивался. Но он не замечал, делал вид, что не замечает. А сегодня, когда я вошел, первым поздоровался". — "Он же тебя провоцирует, — сказала мама, — только ты можешь этого не понимать". — "Но мы всего-навсего поздоровались", — папа начинал горячиться, что всегда делал прежде, чем сложить оружие. — "Сегодня поздоровались, — начала зловеще пророчить мама, — а завтра он что-нибудь спросит и ты сболтнешь такое, что надо держать за семью замками". — "Вот сболтну, тогда будешь меня ругать", — сказал папа, сбегая в соседнюю комнату: он не любил переменять хорошее мнение о людях на плохое. "Он же приставлен за тобой следить — дурень ты!" — крикнула ему в спальню мама. — "Да что за мной следить? — закричал из соседней комнаты папа, однако в его настроении уже появился нужный маме надлом: — Что за мной следить? Если захотят меня забрать, то заберут и так. Уже забрали Анатолия Павловича, забрали Исаака Семеновича, и я так же ни в чем не виноват, как они, и так же могу завтра оказаться там же, где они!.." Бедный папа не знал, что дело ему шьют для чего-то поаккуратнее, чем Анатолию Павловичу и Исааку Семеновичу, собирают бумаги, показывают эксперту и что эксперт добрый человек, спасибо ему, всякий раз, рискуя собой, находит в бумагах несоответствия и неправдоподобности и не торопится, хоть его и понукают, заменить их новыми бумагами, более соответствующими и правдоподобными. Конечно, все эти игры завершились бы однозначным результатом, если не через месяц, то через два, но как оказался дорог этот месяц, — никому неведомо заранее, что готовит нам судьба; пока же папа, горячася, выкрикивал слова, которыми одновременно отбивался от мамы и поддавался ей, и того более — утешал себя, предвидя недалекое будущее: *если всех — то и его*. "Зачем ты это говоришь, у тебя язык такой ужасный, незачем это говорить!" — страх, возбуждаемый мамой в папе, еще больше испугал ее саму, она оборвала разговор и отправилась в кухню разогревать обед.

На другой день больной снова с папой поздоровался. "Ну, и что еще сказал?" — замирая в предчувствии папиной глупости, спросила мама. — "Ничего. Просто поздоровался". Так он начал с папой здороваться, этот "ответственный сотрудник", здоровался — и не говорил ничего более, и папа с ним не загова-

ривал, но однажды, вернувшись с работы, подмигнул нам, как в лучшие дни, и спросил: "Как вы думаете, что за книгу читает мой постоялец?" — "Вопросы ленинизма?" — предположил я. — "Держу пари, не догадаетесь", — сказал папа и снова нам подмигнул. — "Зачем ты трогал его книгу? — леденящим голосом произнесла мама. — Мало тебе всего..." Она стала возбуденно объяснять папе, что это непременно сделается известно, что остались отпечатки пальцев и что нам лучше век не знать, какие *они* книги читают... Но папа на сей раз довольно решительно ее осадил и рассказал, что книгу не открывал: сам владелец оставил ее на кровати открытой, когда ушел на процедуры, а он, папа, просто подошел и заглянул, и — что же это было? — "Держу пари, никогда не догадаетесь!" Это был однотомник Пушкина. "Такой толстый, знаешь, как у нас", — и открыт был однотомник на "Кавказском пленнике". "Кто бы подумал! — сказала папа. — Я сам уже не помню, когда читал "Кавказского пленника"... Сиюминутная задача, по обыкновению, увлекла папу и отодвинула назад постоянно действующие размышления: "Неприменно надо перечитать. Просто неудобно. Где этот наш однотомник?" — "Ты больше им верь, — сказала мама. — Нужно быть тобой, чтобы не понимать, что он тебе это нарочно подложил!" — "Зачем нарочно подкладывать "Кавказского пленника"! — закричал папа, регистрируя в соседнюю комнату, чтобы не разочаровываться заранее в людях.

Прошла еще неделя или, может быть, две, — и вот странный, необъяснимый для меня финал этой истории. Каким-то утром, отворив дверь в свой кабинет, папа обнаружил, что кровать, поставленная у окна, убрана, стол водворен на место, по кабинету же прохаживается человек, одетый в мундир с двумя голубыми просветами на погонах; надо ли объяснять, что это был тот самый ответственный постоялец кабинета. "Я сегодня выписываюсь, — заговорил он, — и вот хочу попрощаться и сказать вам..." Он сказал, что в первые дни был настроен против папы, но все это время наблюдал за ним, видел, как он обходится с сослуживцами, с больными, и понял, что перед ним хороший, добрый, честный человек, каких ему редко приходилось видеть. И дальше — тут я совершенно убежден, что меня заподозрят в том, будто я рассказываю святочную историю, настолько это неправдоподобно, настолько невозможно, но, честное слово, *так было*. хотя ничем не могу этого доказать, — дальше этот человек еле заметно улыбнулся, остановив на папе неподвижный взгляд, и — такого, побожусь, никто не в силах предположить! — вдруг вручил папе посвященные ему стихи собственного сочинения, не то что бы профессиональные, но и не вовсе графоманские, такие недурно сложенные двенадцать строчек про доброго врача и человека. Как бы мне хотелось привести здесь эти стихи, они долго хранились в ящике папиного стола, после его смерти, разбирая ящик, я уверен был, что

отыщу и их; но ни одной заветной, известной мне издавна бумаги — письма, стихотворения, выписки из прочитанной книги — не нашел: только конспекты, тексты лекций, ученые рукописи, записные книжки с адресами и телефонами и обжегший меня конверт с тремястами рублями и надписью — "На дачу", то есть приготовил на всякий случай, ибо не в обычаях нашего семейства загодя откладывать: приготовил, приготовился — ящички почистил, убрал все, что считал лишним, ему уже, а другим вообще ненужным, и, как ни хотелось бы привести здесь стихи, о которых веду речь, еще больше хотелось бы набраться решимости, чтобы и самому вовремя ящички почистить, — но это уже другой разговор... Папа поблагодарил странного больного за стихи, они за руку попрощались. Появился главврач Волков: "Вы уже готовы? — ответственному сотруднику. — Надо же, в приемном покое задержали. Всюду одно и то же"... Достал из шкафа пальто "ответственного сотрудника" — не шинель, именно пальто, темно-синее, серую каракулевую шапку, без кокарды, так *они* тогда любили носить: поверх военной формы — гражданское пальто, тонкий шарф, заправленный за стоячий ворот мундира, чтобы видно было, что ворот мундира, на ногах тонкие высокие сапоги — так *они* любили. Волков подавал "ответственному сотруднику" пальто — и тот (папа это подчеркнул, рассказывая) не отказался — неторопливо, будто имеет дело с гардеробщиком в парикмахерской, проталкивал руки в рукава. Потом небрежно приподнял вялую кисть к виску, как бы отдавая честь и вместе как бы не отдавая, глаза прищуренные, сверкающие в щелках, и четкой, но неслышной походкой вышел из кабинета...

Если эти строки читает человек, пострадавший в застенках и лагерях, он, наверно, упрекнет меня в идеализации палачей. Пусть тут каждое слово — правда, но заслуживают ли эти люди *в целом* рассказа о достоинстве и милосердии кого-нибудь из них? Право же, все, что я пишу, вопиет против того, чтобы обвинить меня в идеализации, но такое *произошло*, во вселенной тогдашней нашей жизни, заполненной кровью, жестокостью, несправедливостью, предательством, *вдруг произошло* такое — и я рассказываю об этом, и хочу понять, *что же это?*.. Для меня нет сомнений, что ответственный сотрудник, о котором я пишу, если бы 5 марта 53-го было перенесено волею рока на 5 апреля, что этот сотрудник недогнувшей рукой подмахнул бы папе смертный приговор, но вот он же отчего-то — не для чего-то же! — отдает папе им сочиненные и своей рукой перебеленные стихи (не помню, были ли они подписаны) — листок мог быть найден при обыске и т.д. и т.д. — а все же сочинил, и переписал, и отдал...

Один мой друг, познакомившись с этой моей рукописью, очень советовал мне снять подзаголовок: "семейные мелочи". Несколько даже раздраженно он объяснял мне, что пишу я о

вещах значительных, истинно драматических (слышать это, не скрою, было весьма приятно), применительно к ним слово "мелочи" звучит нарочито, кокетливо (если угодно) — то самое уничтожение, которое паче гордости. Я привык доверяться вкусу и суждениям моего друга, но как бы ни желал и на этот раз с ним согласиться, все существо восстает против того, чтобы снять с первой страницы повествования не сразу найденные "мелочи".

Господи, если не *мелочи*, что мне тогда делать с дорогим моему сердцу Левой Шимелиовичем: в те же самые дни и месяцы, о которых пишу, его отец, как и мой, лекарь человек, не просто (просто!) врачом-убийцем был объявлен, но — куда хуже по понятиям того времени! — руководителем сионистского подполья, и уже расстрелян (недавно — дописываю наспех, в скобках, уже зимой 90-го, — в опубликованных "Известиях ЦК КПСС" материалах о расправе с Антифашистским еврейским комитетом отмечено, что доктор Шимелиович, б. главный врач больницы им. Боткина, единственный из всех, не признал под пытками своей "вины"), в те дни и месяцы, о которых пишу, отец Левы был уже расстрелян, а сам Лева сослан, затем арестован и по отбытии некоторого срока сослан уже совсем далеко. Если у меня не *мелочи*, что мне делать с давним и добрым моим приятелем Адельбертом: пятью годами раньше того времени, о котором веду речь, Адельберта со всем его семейством и тысячами других литовцев посадили в вагон для скота (руку потянуло по привычке написать — "в теплушку", но всякое слово, корень которого роднится с теплом, к данному случаю никак не подходит), провезли в пробиваемом всеми встречными и поперечными ветрами и вьюгами вагоне четыре или пять тысяч километров и выгрузили вдали от населенных мест прямо на таежной опушке, — стали строить на скорую руку какое-никакое жилье и так же наспех рыть могилы; кладбище обживалось быстрее, чем поселок. Если у меня не *мелочи*, что мне делать с Вовой и Таней Фогтами, братом и сестрой, теми, что жили у нас на четвертом этаже: отца их, химика, арестовали еще в тридцать седьмом, в сорок первом дошла очередь до детей, в двадцать четыре часа их — как немцев — отправили куда-то в кавказские степи, Вова был годом-двумя старше меня, Таня совсем еще маленькая; какими-то путями дошло до нас, что мать их, Антонина Ивановна, приятельница моей мамы, миловидная женщина, болезненно худая и до прозрачности бледная, с влажными синими глазами и острым, всегда покрасневшим, будто с мороза, носом, умерла очень быстро, едва ли не дорогою; Антонина Ивановна была немка исконная, московская, как-то при мне она призналась шопотом, что гимназия, где прошли годы ее учения, помещалась в том ли самом или ином каком страшном здании на Лубянке (ныне — площадь Дзержинского) — пойди скажи такое вслух: тоже опасно!..

И у армейского сослуживца моего, механика-водителя, Лешки Таланова, тоже переселенца, мать умерла в дороге, как у детей Фогтов, только переселяли Талановых с исконных мест, где деды жили и прадеды, на недавние немецкие земли, повезли, не спрашивая согласия, от родимых дворов и домов заселять новосоединенную российскую территорию — из Калининской (Тверской) области в Калининградскую (Кенигсбергскую). А как мне быть с незнакомым майором, участником изгнания ингушей: в бесконечно долгом поезде местного назначения он оказался единственным моим попутчиком (в этом поезде все ездят в общем вагоне, я же по неведению купил купированный, майору купированный — *полагался*). Майор был сильно пьян, но, едва поезд тронулся, достал из чемоданчика темно-зеленую поллитровку, темным, железной крепости ногтем расковырял сургуч, именовавшийся "красной головкой", вытащил картонную пробку и разлил водку по стаканам. Рассказывать про ингушей он начал скоро — видно томило (или из впечатлений жизни это было одним из самых сильных) — после первых же пустых, знакомства ради, фраз; время от времени он прерывал рассказ и строго грозил мне темным пальцем: "Смотри — никому! А то..." — и, как ствол пистолета, приставлял палец себе ко лбу. В селении, рассказал он, всех мужчин загнали в клуб на собрание (кажется, День Красной Армии), после чего клуб окружили загодя подтянутые к селению войска; пока мужчины разобрались что к чему, женщин и детей побросали на грузовики и повезли на железнодорожную станцию; потом настала очередь мужчин; на станции выяснилось, что семьи разобщены, мужья отделены от жен, матери от детей, людей в спешке распихивали как попало: главное было побыстрее набить вагон, задвинуть тяжелую дверь, накинуть засов, выставить на площадках охрану и отогнать вагон на дальние пути, где формировались составы... Майор рассказывал и то и дело отирал большой грубой ладонью потевшее, как в бане, смуглое, бугристое свое лицо...

Вся Россия лежала вокруг, духовно, телесно, земельно разграбленная, раскулаченная, раскуроченная, униженная, обнесенная колючей проволокой, вся обращенная в холодный, зловонный, зарешеченный арестантский вагон, лежала вокруг страна многонациональная, интернациональная, и первым среди равных в ней было великое племя зеков, единственное, в котором рождаемость неизменно преобладала над смертностью: сколько их ни умирало, а умирали миллионы, вдвое, втрое больше ежегодно пополняло их ряды, в этой стране являлись на свет только зеки, каждый явившийся на свет был обречен стать зеком, лишь случайность могла уберечь его от того, чтобы оказаться за колючей проволокой; но и живя по эту ее сторону, он все равно жил униженной, рабской, с отнятым достоинством жизнью зека, колючая проволока не только отделяла его от

тех, других, уже ставших живой собственностью ГУЛАГ'а, но и ограждала его самого от иного мира свободных — в движениях телесных и душевных — людей. Я жил в этой России — совесть не позволяет пред очами ее назвать то, что происходило со мной мрачной весной 53-го, иначе как-нибудь, чем "мелочи": в самом деле, какие мелочи! — папу преследуют, пугают, но не успевают забрать, я ищу работу, но живу дома, в той самой комнате, где родился когда-то, беседую с родителями, кожу в гости, сплю с женой; все ждут, что против евреев не сегодня-завтра предприняты будут роковые акции, но — еще не предприняты, и "пока мы живы, смерти нет, а смерть придет, так нас не будет". *Мелочи! Конечно, мелочи! Семейные мелочи той незабываемой зимы 53-го.* Совесть не позволяет поименовать их иначе как "мелочами" рядом с гибелью и горем других. Но позвольте и мне свой малый — *мелочной* — штрих внести в картину ("мелочной" — не худое слово: вспомним мелочное письмо тонких иконописцев). Коли речь коснулась живописи, припомним также, что полтора-два десятилетия назад было в среде художников понятие "околичности", означавшее подробности на полотне, но опусти их — картина выйдет неполной, чего-то в ней не достанет, выпадут какие-то сцепления, тема останется не до конца выраженной, главная мысль не досказанной. Позвольте мне и свои *околичности* внести в тот зимний пейзаж 53-го года. Написанное мною окажется околичностью не только в общей картине тогдашней России. Даже в картине на частную тему, об одной лишь еврейской жизни той поры (или, быть может, эпохи), семейные мелочи не вылезут в центр полотна; но эти мелочи были моя судьба, они формировали мой дух и мою плоть, становились составом моей личности материальной и духовной, определяли мое будущее, и что, быть может, еще важнее, существеннее для меня, когда я пишу это, они, эти мелочи, околичности были, у каждого по-своему, но вместе типичной, общей судьбой множества людей. И это дает мне право и силы писать о том, внешне, наверно, и не очень значущем, что я пережил в зимние месяцы 1953 года.

Итак, как раз 13 января, прочитав утром в газете сообщение о врачах-убийцах, содержание и тон которого не оставляли сомнений в крутизне взятого курса, я побрел на зады ГУМа, в свое издательство, уверенный в том, что прежнее, доармейское место младшего редактора мне там обеспечено и ни на грош не уверенный в завтрашнем дне.

Первый, или, точнее, первая, к кому я попал, была наша завкадрами, тощая, хорошо сложенная дама, похожая на отставную балерину; она приветливо усадила меня в своем закутке, порадовалась моему возвращению — на это ушло у нее минуты полторы, — после чего перешла к обсуждению сообщения напечатанного в утренней газете. Преступная клика врачей вызывала у нее негодование и омерзение: *и чего им не хватало,*

повторяла она, негодуя и морщась от омерзения; *чего им не хватало* — профессора, все в кремлевке работали, у всех дачи, машины, и дойти до такого!.. Нет, вы скажите мне, *чего им не хватало* — она нагibalась ко мне и в голосе у нее была мольба, как будто именно я, и никто другой, мог ответить ей на вопрос, чего же им, профессорам, не хватало, что они при своих окладах, дачах и машинах согласились стать агентами американской и английской разведки, не говоря уже о пресловутом "джойнте". Эта формула: "Чего им (ему, ей) не хватало" применительно к таким понятиям, как измена родине, преступления против человечности (хотя ни в то ни в другое, когда речь шла о врачах-убийцах я не верил), формула эта, помню, несмотря на крайне неприятный смысл и тон разговора, меня насмешила (чего я, понятно, никак не выказал), насмешила потому, что читалась как бы от обратного: вот если бы *не хватало*, то оно, понятно, можно бы и изменить, и завербоваться, и убийцей сделаться.

Между тем о моих делах завкадрами ничего определенно говорить не желала, и, когда я, скорбно качая головой в ответ на ее пассажи, вставлял, дождавшись короткой паузы что-нибудь вроде: "мне бы теперь за работу", намекая как бы, что именно теперь мой трудовой энтузиазм нетерпеливо требует воплощения в ожидаемые народом и едва не загубленные врачами материальные ценности, она, увлеченная генеральной линией беседы, лишь роняла мимоходом: "Это как Григорий Игнатьевич решит..."

Григорий Игнатьевич в самом деле был единоличным и полновластным хозяином издательства. "Большой человек", — говорил о нем старик-техред Андреев, сухонький, с серебряной щеточкой усов, всегда слегка навеселе: "Большой человек". И в самом деле — большой: высокого роста, толстый, шумный, с зычным голосом и уверенными движениями, Григорий Игнатьевич словно самой природой создан был командовать; невозможно было себе представить, что где-то там, наверху, наш директор, почтительно склонившись, выслушивает указания и разносы какого-нибудь сухонького, вроде техреда Андреева, усатого старичка, — да это никому в издательстве и в голову не приходило: для нас — так уж он себя сумел поставить — мир венчался Григорием Игнатьевичем; над ним был уже мир иной, куда мы и не заглядывали.

Биография Григория Игнатьевича соответствовала его виду и положению, то есть была биографией "большого человека" — пересказываю ее как знаю с чужих слов, если в чем и ошибусь, не велика беда, я и фамилии-то нашего директора не называю, зато примечательно, что молва никакой другой биографией его не наградила. Говорили же о нем, что войну он закончил генералом-политработником, после чего поставлен был ни много, ни мало замнаркома (или уже замминистра) просве-

щения, но в этой должности обуяла его страсть к науке, уступая которой, он присвоил чью-то диссертацию и успешно ее защитил, обзаведясь таким образом степенью кандидата педагогических или исторических или каких-либо еще наук, главное, что — наук; однако этот отрезок пути нашего директора завершился не вполне удачно — некто, у кого он позаимствовал для защиты диссертации, стал жаловаться и в итоге безуспешно, вопль его был услышан где-то наверху, в ином мире (наверно, недруги нашего директора постарались), там, наверху, решение приняли поистине соломоново: кандидатом наук Григория Игнатьевича оставили, но из замнаркомов (или замминистров) турнули; ну, а чтобы не пропадать совсем человеку, ибо пропадать совсем, видимо, ему еще не было назначено, произвели Григория Игнатьевича снова в генералы, только на этот раз уже в горные и вручили ему издательство. Про чудака же, который завел тяжбу из-за украденной у него диссертации, сведущие люди сообщали, будто ему тоже присвоили степень, и за ту же диссертацию, но ходил он с этой степенью недолго — попросили сесть.

Хотя судьба и руководство поставили Григория Игнатьевича во главе издательства, хотя деятельность вверенного ему учреждения, рассуждая логически, составляла эквивалент его собственной стоимости, он, и пребывая в своем кабинете, и шествуя по коридору, и произнося речи в зале (а речь он умел произнести в любую минуту и по любому поводу — слова забивал, как гвозди, решительные, призывные, разгромные, призывные и разгромные фразы перемежались шуточками, заигрывающими с одной частью слушателей и уничтожающими другую — разделяй и властвуй, появлялись в тексте пословицы и литературные цитаты, как у товарища Сталина, цитаты же из товарища Сталина были отправной точкой всякого положения и выводом из него), он, Григорий Игнатьевич, что бы ни делал, всегда имел такой вид, будто не у себя в кабинете находится, и не в издательском коридоре, и не в зале на трибуне, а где-то совсем в ином месте, несравнимо более значительном, где-то там, куда он раза два в день укатывал на персональной машине, походя бросая секретарше Неле, античной красоты девушке, проводившей свободное время с артистами театра "Ромен" и постоянно прикрывавшей кисейным платочком покусанную темпераментными цыганами шею, бросая секретарше Неле таинственно-значительное: "Я поехал..."

Григорий Игнатьевич, случалось, щедро одаривал подчиненного благодеянием, случалось, шумно распекал, употребляя самые нецензурные выражения, количество которых — как и полагалось — было обратно пропорционально подлинной степени начальственного негодования, случалось, становился крут до крайности и тут уже не шумел, круглое лицо Григория Игнатьевича выражало соответственно приязнь, негодование, не-

преклонность, и все же весь он — кроме маски — был не с тем, кого казнил или миловал, не с нами, а словно бы, шествуя по тракту, свернул в прилепившуюся к большой дороге столовку или общественную уборную, чтобы мимоходом совершить положенное и двинуться дальше.

Вот к этому Григорию Игнатьевичу и направила меня завкадрами, когда пыл ее обличений по адресу врачей-убийц, которым чего только не хватало, начал заметно для нее самой угасать, говорить же о таком предмете без должного пыла ей не хотелось.

Директор встретил меня шумными возгласами, вроде "Здорово, солдат!", "Ну как, понюхал пороху!", "Много девок перепортил? Дело солдатское — не рожать: сунул, вынул и бежать!" — и сходными, какими обыкновенно встречаются человека, возвратившегося с военной службы, но в глубине его глаз читалась озабоченность совсем иными делами.

В таком же веселом тоне Григорий Игнатьевич разъяснял мне, что по новому законодательству предоставить мне работу он вовсе не обязан; "они" там разные параграфы ввели, шумно говорил он, развалившись в кресле своим большим телом и улыбаясь умелой улыбкой, как бы делавшей нас единомышленниками: он-де вместе со мной здесь, по эту сторону, а "они", которые ввели, там, по другую; "вот мы сейчас Фриду вызовем, — продолжал Григорий Игнатьевич, тыча толстым пальцем в кнопку звонка, — она все растолкует, что нам положено, а чего нет".

Фрида, издательский юрист, средних лет еврейка с ярко накрашенными губами и щеками, с громадным, как оружейная башня, бюстом, во все времена года носившая белые свитеры с высоким воротом и узорами на груди, отличалась способностью постоянно рассказывать страшные криминальные истории, которые, как губка, впитывала, толкаясь в судах и среди коллег-юристов; рассказывала она их необыкновенно живо, с ужасающими подробностями; однажды мне пришлось дежурить с ней вдвоем на избирательном участке, за полтора-два часа она довела меня до того, что я боялся поднять глаза на темное окно, когда же дверь неожиданно открылась и вошел какой-то избиратель — единственный за весь вечер — проверить свое имя в списках, я едва удержался, чтобы со страху не заржать во все горло.

"Фрида — дока, сам знаешь, своего в обиду не даст", — продолжал Григорий Игнатьевич, по-особому игриво налегая на слово "своего"; не поймешь: своего — издательского, или своего — солдата Советской Армии, или своего — *своего*. "Фриду Моисеевну", — коротко приказал он вошедшей на зов звонка Неле, античной красавице, придерживавшей рукой розово-сиреневый шарфик на шее, точь-в-точь, как на самом знаменитом автопортрете Ореста Кипренского, ныне не признаваемым ни

автопортретом, ни вообще работой Кипренского. Неля отправилась искать юриста, а Григорий Игнатьевич, точно страницу в нем перевернули, посерьезнел, замолчал, задумался, отчужденным лицом и, казалось, даже крупным телом перенесся в тот другой слой, где постоянно существовал; он сидел передо мной с невидящими ни меня, ни кабинета, в котором сидел, ни самих издательских стен глазами и, с трудом перебирая толстыми пальцами, мешавшими один другому, барабанил ими по столу. Минуты были тягостные, необходимый ритуал встречи вернувшегося в родной коллектив из родной армии солдата был исполнен, мне говорить с директором было не о чем, ему со мной тем более, к счастью, Фрида не заставила себя ждать.

«Что там за поправки насчет вернувшихся из армии? — безразличным ко мне, к Фриде, к поправкам голосом спросил директор, едва Фрида с вишневого цвета щеками и губами всплыла в кабинет, обтянутая белым свитером с двумя бодающимися синими оленями на выпирающей на добрых три четверти метра груди. — Мы ведь теперь *не обязаны брать?*» — глаза Григория Игнатьевича, отсутствовавшие в кабинете, когда он произносил первую фразу, на слове «не обязаны» на мгновение вернулись под своды помещения. «Есть оговорка, что обязаны только участников войны», — разъяснила Фрида. «Видишь, тебя не касается», — пустым голосом произнес Григорий Игнатьевич. Он уже слегка откинул голову, чтобы кивком отпустить меня навсегда, но вдруг что-то здешнее снова блеснуло в его глазах. «Разве вместо Хавкиной?» — тяжело поворачивая голову, он искоса взглянул на Фриду. Хавкина работала в издательстве, кажется, со дня его основания: старенькая (тогда мне думалось), с коротко постриженными седыми волосами, в вечном сером платье, она с утра и допоздна копошилась, как мышь, в своем углу, подклеивая и подчищая рукописи, приводя в порядок картотеку, вычитывая, подпечатывая, выполняя множество работы, не имевшей к ней никакого отношения, — все, кому ни лень, заведующие редакциями, редакторы, секретарши директора и главного редактора, члены политбюро, месткома, комитета комсомола, редколлегия стенгазеты и едва ли не курьераша, все о чем-то просили старуху, и она никому не отказывала — печатала, вычитывала, подклеивала, поправляла и за них, все ее о чем-то просили — и никто не благодарил за помощь, все знали, что она здесь — и никто не обращал на нее внимания: если вспомнить историческое — тогда ходовое — понятие «винтик», примененное к человеку вождем человечества, то Хавкина была образцово-показательный винтик, по самую шляпку вверхнутый в корпус издательского механизма. И вот Хавкину... Я изготовился уже благородно объявить, что на место Хавкиной не пойду, но директор, опережая меня, сам опроверг мелькнувшую было идею: ах да, мы ведь Хавкину с Файбисовичем в связи со слиянием редакций за штат выводим.

"Что Файбисович все бюллетенит?" — спросил он Фриду, наконец вполне повернувшись к ней. "Бюллетенит, Григорий Игнатьевич. Говорят, серьезное что-то" — "Серьезное!.. — передразнил он в сердцах, но с глазами, живущими другой жизнью. И с такими же глазами присовокупил ироническое: — Мудрец!.." Он махнул на Фриду толстой ладонью: ладно, иди. Я понял, что меня ни в памяти директора, ни в его кабинете, ни на поверхности земного шара уже нет, и вышел вместе с Фридой. На столе у секретарши Нели лежала развернутая газета — колонкой о врачах-убийцах кверху. "Как дела, Неля?" — все-таки до моей армии мы не были совсем чужими, случалось, забредали после работы в какую-нибудь компанию, вместе выпивали по рюмашке-другой. "Какие теперь дела, — холодно отозвалась Неля, кутаясь в свой кипренский шарфик. — Кругом убийцы".

"Кстати, об убийцах", — темпераментно сказала Фрида, когда мы вышли в коридор. Я испуганно огляделся. "Об убийцах, смачно повторила Фрида. — Представьте, вчера в суде разбиралось дело — мясник убил свою любовницу, вы понимаете, это очень важная подробность; не кто-нибудь — мясник, с его по-особому отточенным топором, а он топором и убил, с его поставленным ударом, умением рубить мясо, именно мясо..." — "Фрида, — перебил я ее, — меня не возьмут на работу?" — "Сюда? — удивилась Фрида. — Нет, конечно, а вы разве не поняли?" — "Это правда, что обязаны только участников?" — "Ах, Боже мой! Да будь вы и участник! Ну, подали бы на нас в суд. Он — Фрида повела глазами буйволицы в сторону директорского кабинета, — он послал бы меня, и я бы в два счета выиграла дело". — "Ну, и как же мне быть?" — спросил я, не потому, что надеялся получить совет, но чтобы не уходить вот так, сразу, ни с чем, чтобы еще немного постоять, поговорить, собраться с духом, осознать свое положение. "Здесь время не тратьте, — сказала Фрида. — Попробуйте в других местах". И я начал проговаривать в других местах...

Мне понадобилось недели две, чтобы вполне осознать тщету моих попыток. Действовал я так: находил в телефонной книге издательство позахудалее (а в ту пору едва не всякое ведомство имело свое), звонил и спрашивал, нужны ли им работники. Всякий ясномыслящий кадровик резонно рассуждал, что работник, имеющий основания рассчитывать, что его возьмут на работу, не предлагает сам свои услуги по телефону, о нем звонят другие, ясномыслящий кадровик к тому же тотчас схватывал в моем голосе робость и обреченность — и отказывал немедленно. Но случилось, я напал на рохлю, на того самого ротозея, который, если верить фельетонам, как раз и способствовал агентам и приспешникам, ротозей не улавливал с ходу всего коварства моего звонка, потеряв бдительность, вступал со мной в ненужный разговор, задавал вопросы об имени, отчестве и фамилии и, благодаря некоторой внешней непроявлен-

ности имени, отчества и фамилии (о чем я писал выше), приглашал зайти. Дальше все происходило с тоскливым однообразием: заполнение анкеты, предложение подождать, пока позвонят сами, прощание навсегда. Поначалу я, обождав неделю, напоминал о себе по телефону и (об этом тоже выше написано) узнавал, что с желанным местом вышла какая-нибудь ошибка (либо накануне заняли, либо назавтра ликвидировали).

Смешная история той поры, зацепившаяся в памяти. На Садовой, там, где нынче образцовский театр кукол, стоял запущенный, полуразвалившийся домишко, в коем обитало такое же запущенное, последнего разбора ведомственное издательство. И надо же — какого маху дал издательский кадровик: вывесили на улице объявление, что, мол, требуется секретарь-машинистка производственного отдела. Через неделю перед кадровиком высилась пачка поразительных анкет: на место секретаря, к тому же производственного отдела, претендовали филологи, историки, философы, экономисты, все с одним, правда, изъяном — в пятом пункте анкеты. Изумленный кадровик перечитывал анкеты вслух с торжественной гордостью, он даже как-то упускал в этот миг проклятый пятый пункт, в его воображении возникала картина величественная, как древнегреческий театр (о котором он никогда и не слышал), — он представлял себе, какими людьми могло бы, лишь дай волю, заполниться порученное его попечительству учреждение, и милое его сердцу захудалое издательство превращалось в мечтах в интеллектуальную столицу мира, как небезызвестные Васюки — в шахматную. "Фридман, — с выражением читал он, — Софья Абрамовна, окончила институт восточных языков (конечно же, он читал: языков), факультет персидского языка..." В эту минуту подле оказался старый издательский бухгалтер, тоже чуть ли не Фридман. "Ах, — проговорил он, сетуя на глупость однофамилицы. И кто ее возьмет!.." Кадровик посуровел лицом, расправил плечи: "Что вы имеете в виду, товарищ Фридман?" Старик похолодел. "Я имею в виду, — отвечал он почти шопотом, — кому теперь нужен персидский язык..."

Через несколько недель я четко понял, что персидский язык теперь никому не нужен и перестал искать.

Дома я не говорил об этом: сам факт, что я нигде не состою на службе, очень пугал маму. Это и в самом деле не сулило мне ничего хорошего: позже подобный факт мог повлечь за собой обвинение в тунеядстве, в то время, о котором я пишу, он мог оказаться поводом для репрессий любого рода, хотя те же репрессии могли настичь меня, какую бы должность я ни занимал.

Утром я вставал со всеми, со всеми выходил из дому, отправлялся провожать Надю — кажется, имя моей жены появляется здесь впервые. (Тремя годами раньше парторг нашего института, имевший, похоже, отношение и к органам — "осве-

домительное" лицо и осведомленное, узнав, что она выходит за меня замуж, разубеждал ее: ты что, с ума сошла, их же скоро всех вышлют... Он относился к Наде с симпатией.) Расставалась надолго: на службе Надя — как и остальные — засиживалась допоздна, день передо мной открывался огромный, томительный, пустой от безделья. Я брел не спеша, останавливался у каждого стенда с афишами, заходил в магазины, выпивал в каком-нибудь стакан вина (на улице Горького в магазине "Грузия" — отделанный полированным деревом прилавок и на нем до потолка марочные всех сортов, тогда только что получившие номера, от "Цинандали", номера первого, до сладчайших, тягучих — уже ближе к тридцатому — номеров), на Пушкинской площади заворачивал в кино-театр "Центральный", что не мешало мне после (день длинный) посмотреть еще фильм, в другом каком-нибудь кино-театре; в армии я мечтал по возвращении домой заново перечитать все основные произведения классической мировой литературы, но заранее боялся, что не найду для этого времени, теперь времени появилось хоть отбавляй, но читал я мало и случайно. Жизнь моя была томительной, но, помнится, в ней не было обреченности. Было страшно от ожидания ареста, высылки, другого несчастья, но выхода не имелось — только жить; жизнь, которой я жил, мы жили, была общей жизнью (общей жизнью евреев той зимы 53-го, тем более), неотвратимость жизни регулировала пределы страха. Мы не чурались и развлечений, ходили в театры, в гости — и ждали; жили — и ждали, и жизнь, в щедрости своей, дарила нам забвение ожиданий и страха...

Между тем время шло, пора мне было встать на комсомольский учет, я-то рассчитывал сделать это по месту работы, но работа мне, что называется, не светила, просрочка становилась непростительной, мне же неприятности еще и по комсомольской линии были совсем ни к чему.

Я полагал, что постановка на учет — дело чисто формальное: явлюсь в оргсектор или орготдел, не помню уж, как это называлось, объясню, в чем дело, девушка переберет в ящике карточки, вытянет одну, черкнет в ней перышком — и делу конец; я же, пока она роется в своих картонках, сделаю ей комплимент, на всякий случай, или расскажу какую-нибудь веселую байку. Так я себе это представлял; но девушка в оргсекторе сидела не улыбочивая, да и не впустила меня к себе; в конце сумрачного коридора я долго стучал в фанерное, выкрашенное темной охрой окошко, пока, наконец, пошаркав задвижкой, она не отворила его изнутри, не дослушав меня, захлопнула снова, и снова отворила, чтобы сообщить, что я должен явиться на бюро райкома такого-то числа и к такому-то часу и ждать, пока вызовут.

Как сейчас помню свой комсомольский билет, то есть не самый билет, который ничем не отличался от миллионов та-

ких же, а блекло-розовую корочку, в которую он был заправлен, потрепанную, обтершуюся о карманы за десять лет, что я неразлучно носил билет при себе, — так, буквы "ВЛКСМ" и символ-знамя на передней стороне корочки вовсе стерлись и даже картон на этом месте облупился и слезал чешуйками, как обгоревшая на солнце кожа, обнажая яркий и тоже розовый нижний слой. Но главное — это, что под клапаном корочки, с внутренней стороны, там, где была подсунута обложка билета, был у меня прикреплен маленький, бархатисто-коричневый, исполненный глубокой печатью портрет Сталина — вождь в низко надвинутой фуражке был изображен в профиль на фоне кремлевской башни. Для чего я носил этот портрет? Говорить сейчас подробно о своем отношении к Сталину я по разным причинам не нахожу нужным; доказывать, что я с детства не испытывал к великому вождю всех времен и народов не только любви, но и мало-мальской симпатии, ныне, после всех публичных разоблачений, даже как-то и не вполне прилично, выглядит бахвальством, эдакой невообразимой прозорливостью, между тем именно так и было (то, что я пишу, если и найдет читателей, то скорей всего, среди людей, близко меня знающих и, в общем-то, знающих, что было именно так).

Помню далекую-далекую ночь, я совсем маленький. мне не больше шести, я лежу в своей кроватке, дверь в соседнюю комнату приоткрыта, я вижу вертикальную полосу густого желтого света, в которой перемещаются волокнистые струи табачного дыма, в соседней комнате пьют чай и беседуют мои родители и близкий их друг, Иван Александрович (по-домашнему: дядя Ваня), в прошлом весьма бурно участвовавший в революционном движении, прошедший огонь и воду, тюрьмы и каторгу, но, когда дошло до медных труб, ранее других догадавшийся потрудиться над тем, чтобы прошлое его, заслуживающее почестей, было по возможности забыто (историю Ивана Александровича, как мне она известна, может быть, доведется рассказать как-нибудь к случаю), итак, Иван этот Александрович и родители мои пьют чай и беседуют, а я, неожиданно проснувшись, лежу в темноте и прислушиваюсь к голосам из соседней комнаты: там говорят о расправе с оппозицией, о коллективизации, а каких-то процессах начала 30-х годов, до 37-го еще года три, или четыре — видимо, обо всем об этом говорят, я тогда не понимал, конечно, и соответственно не запомнил, помню только кульминацию сцены: "убийца!" — слышу я мамин голос, это она про Сталина — "убийца", и дядя Ваня, шутник и выдумщик всяких веселых затей, которым вместе со мной увлеченно предается, подтверждает жестко, что убийца — всю страну кровью зальет. И тогда я кричу: "мне страшно!" — мама подбегает и дает мне палец — так она всегда делала, когда меня укладывала, чтобы я скорее уснул; я сжимаю ее палец в кулачке, но еще некоторое время не могу ус-

нуть, лежу и молчу, и мама молчит, но, когда она начинает осторожно высвобождать палец, я сжимаю его еще крепче и спрашиваю: "Это вы про Сталина?" — и мама, спасибо ей, не увертывается, не оставляет меня наедине с тем, что я слышал, но оказывает мне высшее по тем временам доверие, мне, малому ребенку, доверяет самое по тогдашним временам страшное, головной рискуя: да, говорит, про Сталина; но, говорит, если кому-нибудь расскажешь, он всех нас убьет. В отличие от несчастного Павлика Морозова, я родителям больше поверил, чем вождю, то есть вождю с тех пор я просто не верил, строго судил всякий его шаг и все, что его именем делалось, и жил — что и в младенчестве и в зрелые годы непросто было — с чувством ненависти к нему и вместе постоянного страха. Ставлю однако себе в зачет, что, делая предложение будущей своей жене (замечательно, как вся наша жизнь была заполнена Сталиным — "как его много, как его чертовски много", говорит о властителях страны один из лесковских героев), делая предложение, я сказал: "Чтобы не было между нами осложнений, хочу объяснить, как я отношусь к Сталину. Надеюсь, ты видишь, что вокруг творится, так вот, если Сталин обо всем этом знает, в чем я уверен, то он подлец, а если не знает, в чем многие уверены, то дурак, — третьего отношения для него у меня нет"; дело было в зале имени Чайковского на концерте ансамбля Игоря Моисеева, который тогда по границам не шастал, честно обслуживал советского зрителя, в антракте мы спустились покурить (то есть я — покурить, а Надя со мной), стояли возле двойной стеклянной двери на улицу, за дверью лютовал декабрь 49-го, человечество исполненное счастья и гордости, отмечало 70-летие всеобщего отца, вождя и учителя.

Однако от похвал себе (вот ведь не удержался — наверно, если по правде, мало есть, чем похвалиться) возвращаюсь к своему повествованию. Итак, почему я носил в комсомольском билете сталинский портрет? Именно потому, кажется, что испытывал ненависть и страх. Хочу говорить о себе без предела откровенно и нелицеприятно. Ну, конечно же, я понимал умом, что портретик в книжечке комсомольского билета в случае чего не оградит меня и не спасет и не оправдает в глазах судей и палачей, но для себя нужна была — не надежда — нужен был какой-то знак, символ надежды, амулет с изображением зверя, которого всего более страшишься (следовательно — ненавидишь), оберег, как именовался такой амулет на Руси: вера в оный, по объяснению исторического материализма, являет бессилие первобытного человека в борьбе с природой. Год спустя, когда я сдавал свой билет с заявлением, что выхожу из рядов ВЛКСМ по возрасту — это было после смерти Сталина, но до разоблачения его на 20-м съезде — неулыбчивая девица-оргсектор, прежде чем навсегда захлопнуть передо мной свое фанерное оконце, приняв мой билет, вышвырнула наружу

розовую потертую корочку вместе с заветным портретом — я одним движением надорвал их и выбросил в стоявшую тут же урну...

И вот я сижу в приемной перед кабинетом секретаря райкома комсомола, и разный народ тоже сидит на стульях вдоль стен; одиночки, как и я, сидят себе и помалкивают, другие пришли группами — эти возбужденно перешептываются, готовясь к обсуждению их "вопроса". В кабинете секретаря, за обитой черным дермантином дверью, идет заседание бюро, время от времени дверь отворяется, из кабинета выходит один человек или несколько и удаляются прочь, спустя минуту появляется секретарша (техническая) и вызывает следующего. Мое дело слушается в самом конце, на улице за окном уже совсем темно, через дорогу, над прямоугольником катка, залитого на Чистых прудах, загораются гирлянды желтых, красных, зеленых и лиловых лампочек, оттуда доносится музыка, пробегает мимо окна трамвай, выдирая из провода длинные светлоголубые молнии, от которых ломит скулы. Наконец, вызывают меня; когда я вступаю в кабинет, за моей спиной, в приемной, освещаемой тяжелой выкрашенной под бронзу люстрой с пятью белыми шарами-абажурами, почему-то почти не дающей света, уже никого не остается.

За длинным, покрытым красной скатертью столом теснится человек пятнадцать сравнительно молодых мужчин и женщин, женщин больше, первый секретарь райкома, тоже женщина, сидит за отдельным столом, к которому этот длинный, под красным сукном, и приставлен. Меня приглашают встать в конце длинного стола, и пока секретарь райкома, темнолобая, с полными губами, читает мое заявление, в котором я прошу временно поставить меня на учет по месту жительства, члены бюро с усталым любопытством меня разглядывают. Я чувствую себя не очень ловко, оттого что заявление мое вызвано невозможностью найти работу, а это, в свою очередь, связано с обстоятельствами, о которых никто не говорит, но которые для всякого ясны; я полагаю, что это же чувство неловкости вместе со мной испытывают и все эти люди за столом, накрытом красной скатертью. Я наивно полагаю также, что вопрос мой пустячный, быстрый, решаемый в течение минуты — чистая формальность, к тому же во мне живет неосмысленная надежда, что неловкость, испытываемая мною и разделяемая, как мне представляется, остальными находящимися в комнате, побудит их побыстрее и понезаметнее решить мой вопрос. Но только секретарь кончила читать мое прошение и, заглядывая в бумагу и путаясь в буквах моей неудобной фамилии, спросила, нет ли вопросов к товарищу, то бишь ко мне, сидевшая подле меня крупная женщина в синем, или, может быть, сером, пиджачном костюме (тогда чуть ли не все женщины, имевшие отношение к партийной, комсомольской и иной об-

щественно-политической деятельности, носили такие костюмы) громко и сердито потребовала от меня ответа, отчего я вот уже два месяца не устраиваюсь на работу — и не собираюсь, наверно, коли прошу поставить меня на учет по месту жительства: мы коммунизм строим, а он... Я от неожиданности заспотыкался мыслями и словами, забормотал про свою специальность, — мест в редакциях немного, работу найти непросто, но женщина в костюме, упирая снизу вверх недобрые глаза в мой подбородок, громко и сердито продолжала: "Да там, может, еще сто лет мест не будет. А к станку или баранку крутить — охоты нет". Поворот был для меня не новый: незадолго перед тем одна особа, знакомая со мной куда ближе по институту, успевшая, пока я служил в армии, сделать карьеру, сказала Наде, услышав от нее, что я никак не могу найти работу: "У нас же работа — идеологическая; почему бы ему (то есть мне) не пойти в такси, там, кажется, нужны водители?.." — отдаю предпочтение женщине из райкома, тогда-то я видел в ее недоброжелательстве недобрый умысел, но теперь не поручусь, что от моей знакомой ответственной журналистки она отличалась искренней убежденностью, хотела, чтобы я вместе с ней коммунизм строил. К этому времени я созрел для того, чтобы согласиться на любую работу, я нагнул голову, встречая ее взгляд, и спросил: "Вы мне можете что-нибудь предложить?" Секретарь райкома с добрыми губами оборвала наш диалог: "Ты, Лида (или Нина), не по-государственному вопросу ставишь, не по-партийному. Страна товарища (она заглянула в мое заявление и, спотыкаясь, произнесла фамилию) пять лет учила, сколько денег на него потратила, а теперь что ж, опять сначала?" Я подумал: "Господи, как просто!.." Секретарь объявила решительно: "Есть предложение поставить товарища (она произнесла фамилию чуть замедленно, но уже не сверяясь с бумагой) на учет. Оргсектор, куда предлагаете?" — "В артель "Фотоснимок", — ответила неулыбчивая девица-оргсектор. "Кто за?.. Единогласно". Она весело на меня посмотрела. (Удивительно: пишу о таком страшном, ненавистном времени, и все встречаюсь в памяти с добрыми людьми. Наверно, то, что не вписывается в систему, лучше запоминается "лица необщим выраженьем"...) "Мы тут еще посоветуемся, — сказала мне секретарь, — а вы пока там в приемной подождите. Не уходите пока". Я вышел и снова час или полтора сидел в пустой приемной, из-за окна, с катка доносилась музыка, трамвай с грохотом пробегали мимо, вытаскивая из проводов длинные, как палка, голубые искры, потом обитая черным дермантином дверь отворилась, члены бюро, оживленно беседуя, потянулись к выходу, секретарша (техническая) пригласила меня в кабинет, сама же на этот раз осталась в приемной, и притворила дверь снаружи. В кабинете, кроме секретаря райкома, сидел, задержавшись, один из недавно там заседавших, худенький мо-

лодой человек, аккуратно причесанный, в костюме с галстуком. Секретарь достала из ящика стола маленькое круглое зеркальце, смотря в него, поправила темные волосы — в эту минуту с ее добрыми полными губами она была совсем домашней женщиной, еще раз взглянула в зеркальце и убрала его, мне показалось с сожалением. "Вот познакомьтесь, — она кивнула в сторону аккуратного молодого человека. — Это Юра. Он в газете работает. Мы тут прикинули, попробуем помочь вам с трудоустройством". Юра поднялся с места, тонкая шея тянулась из воротника голубой сорочки, готовно протянул мне руку: "Верченко".

Позже, в другое время, я не раз видел Ю.Н.Верченко, секретаря Союза писателей СССР, с годами болезненно расплывшегося, бугрящегося излишками тела под неправдоподобно широким, словно пошитом для какой-то цирковой надобности пиджаком, видел почти всегда в президиуме, благословляющим, или порицающим, или не слушающим длинный доклад и речи в прениях и выказывающим, что не слушает — что-то делово черкающим в блокноте или, с видимым усилием шевельнув шеей, отдающим распоряжение то и дело проползающему к нему между рядами людного президиума порученцу, но однажды случай свел нас в застолье, банкет катился к концу, вокруг стола сделалось просторно, иные уже разошлись по домам, другие предпочли отдалиться от бутылок, выпито было много, оставшиеся сомкнулись сплоченной группой, кто-то предложил тост "за Юрия Николаевича, который", за Верченко, интереса ради я подсел поближе и, улучив минуту, спросил его, помнит ли он зиму 53-го, он обернулся ко мне и посмотрел на меня с ленивым любопытством: "А что тогда было?" Я коротко сообщил ему о наших общениях той зимой, он слушал вполуха, одновременно прислушиваясь к общему разговору, водил пальцем по краю наполненного коньяком фужера: "Нет, ничего не помню, — отозвался наконец безразлично. — А вы не путаете?" Но я не путал. Он очень старался той зимой 53-го и, не могу не ценить, искренне старался. При первом же разговоре в кабинете секретаря райкома он, азартно блестя глазами, объяснил мне, что место надо искать не в издательствах, даже ведомственных, не в журналах, даже специальных, не в газетах вообще, а в многотиражках — этих много, они к тому же не на виду. Он подмигнул мне заговорщицки и чуть ли не на завтра позвонил уже и приказал ехать в Кузьминки, в многотиражку ветеринарной академии. Тогда это была даль несусветная, помню набитый автобус, белых гипсовых коней у ворот, — я заполнил анкету, чтобы через день-два услышать по телефону привычное: ошибка вышла, место уже отдано другому, ликвидируется вообще (не помню теперь). Юра Верченко недели две-три не оставлял усилий, потом, видно, дошла до него (или объяснили ему) их тщетность: многотиражки, кото-

рые он старательно для меня отыскивал, действовали столь же безотказно, как и остальные учреждения; в тот день, когда мне несколько раз подряд ответили по телефону, что Юры Верченко нет на месте, и я понял, что отвечает сам Юра Верченко, наши отношения прекратились. Как бы там ни было, спасибо ему за старания. Нет, я не думаю, что Верченко хитрил, отвечая на мой вопрос, что зиму 53-го не помнит: все, что я здесь рассказываю, для него такие мелочи, такие частности, — ему и в самом деле тут помнить нечего. Время, когда вдруг случайно возникла минутная наша застольная беседа, было знаменательное: Юрий Николаевич только что пересел из директорского кабинета большого издательства в неизмеримо более высокий кабинет, начиналось преследование диссидентов, новая эпоха, как мы теперь понимаем, начиналась после хрущевской "оттепели", а тут я с моими пустяками...

(Понимаю, что повествование утратило даже подобие стройности, но что поделать: стараюсь дать волю материалу и воображению, и, похоже, мне удается не очень-то вмешиваться в их самостоятельную жизнь; я и сам руками развожу, когда то одно, то другое, вырываясь из недр памяти, вдруг бьет в глаза огнями электросварки тут, там на разных этажах возводимого здания...)

В последний год войны в нашем доме стали появляться люди, обращавшие на себя внимание несколько странной наружностью, поведением, речью, одеты они были большей частью в полувоенное и вид имели бравый. Это были беглецы из Вильнюсского гетто — большинство бывших отправлялось в леса, к партизанам.

О евреях-партизанах, или — так точнее, наверно, — еврейских партизанах литературы у нас не найти (там, "у них", на эту тему книг издано немало), пишу по памяти и по наслышке, знаю, однако, что многим счастливым, выбравшимся из фашистского ада, пришлось в лесу несладко, и не только голод, холод, смертельная опасность преследовали их на каждом шагу: в действовавших партизанских отрядах, куда удавалось им прибиться, они нередко встречали далеко не восторженный прием, подчас даже вовсе недружелюбный (мягче не скажешь), имею в припасе факты такого недружелюбия, факты, в которые трудно и поверить, все это привело, в частности, к созданию на территории Литвы ряда самостоятельных еврейских партизанских отрядов или самостоятельных еврейских подразделений в составе крупных партизанских отрядов и бригад. Тема эта особая, требующая обилия фактов и серьезного осмысления, я, впрочем, братья за нее не собираюсь, наткнулся же на нее потому только, что эти самые еврей-партизаны (или — еврейские партизаны) из числа бывших узников Виленского гетто стали, как было сказано, появляться у нас в доме на исходе военных лет.

Таких гостей перебивало у нас человек семь или восемь, большинство из них появлялось на день-другой, чтобы выправить в Москве какие-нибудь документы и исчезало навсегда, некоторые приезжали снова.

Среди тех, кто посетил нас дважды или трижды был и некто Хаим, отважный партизан, подрывник, во время боевой операции ему оторвало кисть правой руки, недоучившийся студент-медик, исполнявший в отряде роль врача, ножовкой перепилил кость повыше кисти и как умел затянул рану, Хаим тем не менее выжил и продолжал воевать.

В Хаиме поражало несоответствие внешности тому истинне героическому делу, которым он был занят: маленький, шуплый, рыжеватые волосы, большой нос, красные отмороженные уши, по-детски кривые зубы... И глаза — совсем не боевые, не героические: ясно-серые, внимательные, ласковые и (наверно, самое точное слово) — тихие; и внимательность их, и ласка, которой они наполнились, были тихие, и весь Хаим был именно — тихий: молчаливый, не шумливый в редких речах, и тихий в движениях, скупых и почти незаметных. Укромно устроившись у стола, он больше слушал, чем говорил, глаза его как бы редко и слегка пульсировали, свет в них то будто прибывал, почти изливаясь, то будто отступал вглубь; он слушал, и по глазам его было видно, что все, что он вбирает в себя, усваивается мыслью и чувством. Вместе с Хаимом останавливалась у нас и его невеста, Хая, внешне — полная ему противоположность: круглолицая, румяная, веселая красавица в дубленом полушубке и круглой цигейковой шапочке на манер папачи; Хая тоже была партизанкой, искусным подрывником, как много позже узнал я из одной попавшей мне в руки книги.

Почти все, приезжавшие к нам в ту пору, совершенно стерлись в моей памяти, Хаима же я не просто помнил на протяжении долгих десятилетий, при этом не ведая, существует ли он еще на белом свете, Хаима все эти годы я любил; я сохранил до старости влюбленность подростка, охватившую меня в тогдашние мои шестнадцать; я никогда не тянулся к героическому, но потребность героического, пусть притаенно, пусть не высказываясь в характере, однако являясь в мечтах, наверно живет в человеке от рождения, — в моем отношении к Хаиму владычествовали не изжитые во мне необходимость, неизбежность мальчишеской влюбленности в *своего героя*, потребность обрести его, будь то Робин Гуд, или граф Монтекристо, или Печорин, или (для многих из моего поколения) собственный дядя (если не успели посадить), в молодости помахавший шашкой в рядах "конницы-буденницы", или вдруг такой вот Хаим — я веду его пешком по Москве на улицу Воровского, в литовское постпредство (там у него какие-то дела), веду, преисполненный (сам не знаю, почему) любви к своему спутнику и гордости, что иду с ним рядом, тщедушным и большеносым

(“еврейчик” — тотчас, должно быть, определяют иные встречные, наскоро схватив его взглядом).

Я всю жизнь любил и помнил Хаима, я мало кому рассказывал о нем, и потому, что — при скупости его речей — немного мог рассказать, и потому, что — при полной неосведомленности относительности судьбы его — рассказы могли быть для меня небезопасны, и потому, наконец, что мой рассказ о Хаиме вряд ли для кого-нибудь мог представлять особый интерес, — тут ведь главное было не то конкретное, что я мог поведать, а то, что жило во мне и не выражалось словами; да и во мне образ Хаима с годами как бы мифологизировался, не то чтобы терял реальные черты, но реальные эти черты обретали какой-то обобщенный, почти символический смысл. Еврейское партизанство?.. Судьба привела меня однажды на встречу еврейских партизан Литвы: в далекой стране собрались за длинным столом седые мужчины с живыми, яркими глазами, энергичные женщины с крашеными волосами, пили водку и пели по-русски “Катюшу”, беседа их, кипевшая воспоминаниями, часто страшными, была прекрасна. Ах, как много можно бы и надо о них рассказать, но сейчас не о них разговор, — все это был, образно выражаясь, “Хаим”, но мой Хаим был не только это. Тут еще что-то очень личное, с отрочества и навсегда тронувшее душу, что я и себе-то не в силах объяснить, тем более передать другим.

В последний раз Хаим — так мне это запомнилось — явился одетый в длинную зеленоватую шинель с серебряными петлицами на вороте и в четырехугольной фуражке-конфедератке: несмотря на пустой рукав, он оказался в польской армии (я в этом без малого полвека готов был поклясться); тогда некоторых уцелевших евреев, бывших польских подданных, приглашали или призывали в польскую армию (что-то в этом роде, помнится, происходило) — они уходили с ней и, по-хоже, не возвращались...

...Впрочем, Хаим со мной не соглашается, — весело сияя глазами, поводит протестующе в воздухе единственной своей рукой: нет, нет, в польской армии он не служил, тогда, в сорок четвертом, попал в Европу совсем другими путями. Я спорю: “А шинель?” — “Шинель, может, и была, — он щурится, сияясь припомнить. — Шинель, наверно, была, какие только я не носил шинели, а конфедератки не было. — Хаим улыбается, я вижу белую полоску ровных вставных зубов. — Тебе, наверно, очень нужна была эта конфедератка — и ты в нее поверил...”

Мы сидим за столиком под красно-белым полосатым тенотом в рыбном ресторане на берегу Средиземного моря, в Яффе, пьем желтое пиво, налитое в высокие узкие кружки. Хаим почти не изменился за те сорок пять лет, что мы не виделись, вот только эти ровные вставные зубы и в ухе слуховой аппарат, — но по-прежнему похож на мальчику, не на старичка.

А ему за семьдесят; прожитая жизнь — польское и литовское подполье тридцатых годов, партизанское движение, и европейское подполье сороковых, и английская тюрьма в Палестине, и война 48-го года — он был снова ранен в руку. "Из многих тысяч пар рук пуля нашла мою единственную руку", — смеется он, ставит кружку, наполовину опустошенную, на столик, несколько раз сжимает пальцы в кулак и снова разжимает, как бы сам лишний раз удостовериться, что рука жива. Хаим написал шестнадцать книг, все о том, что прожил. "И про ваш дом, написал, — говорит Хаим, — про твоих родителей, про наши с ними тогдашние разговоры, про тебя — как ты провожал меня в постпредство и показывал мне Москву. Ваш дом — первый семейный дом, в который мы попали после лесных землянок... Фамилии вашей не назвал — боялся вам повредить..." Он говорит тихо, по количеству слов и по чувству тоже, — вспоминает несколько точных, весомых подробностей наших давних московских встреч. А у меня сердце так часто и так сильно колотится в ямке под кадыком, — я с трудом разбираю, что Хаим говорит. Шутка ли! Сорок пять лет жил в моей памяти, в моем сердце, этот маленький однорукий человек, однажды нежданно явившийся из черного, выжженного небытия в наш дом и вместо визитной карточки положивший на стол небольшую фотографию моей бабушки, папиной матери, — фотография была найдена на месте бывшего гетто, на лице бабушки отпечатался темный след чьей-то рифленой подошвы, — я уже и сам не решился определить, на самом ли деле знал *этого, такого* человека или он рожден моим воображением (вот ведь и конфедератка откуда-то взялась; может, и впрямь, и шинели не было с серебряными петлицами?..), сорок пять лет ничего о нем не ведал, уже почти смирился с мифом, и вдруг надо же: только назвал имя — получил номер телефона, только набрал номер — и Хая примчалась за мной на машине: "Мы сорок пять лет тебя помним, говорим о тебе; мы в вашем доме после гетто, после конспирации, после леса первый раз отогрелись..." Хая сидит за столиком, напротив, уже не такая круглолицая, как прежде, не такая румяная — посмуглела за четыре с лишком десятилетия под ярким, горячим солнцем 32-й параллели. Она рассказывает про их с Хаимом дочь: муж дочери был тяжело ранен в шестидневную войну 67-го года и убит в 73-м, в войну Судного дня, но дочь вывело из горя не ожесточение, а желание мира и понимания между людьми, она — ученая-арабистка. "Вот как сложилось, — улыбается Хая: — в тридцатые годы, в Польше, в комсомольском подполье, мечтала строить Комсомольск-на-Амуре, а пришлось в испытаниях строить эту землю, и это теперь моя земля, другой нет, и все же — никогда не забуду: первый, кого увидела, выйдя из леса, круглолицый, раскосый калмык в потрепанной серой ушанке со звездочкой — *освободитель...*" Год назад Хая с какой-то делегацией побывала в Советском

Союзе ("Что же ты не нашла меня?" — "Возили все время в автобусе по историческим местам и музеям. И не решалась: вдруг поврежу тебе..." — а ведь и правда, год назад еще могла и повредить...) Самое горькое впечатление от поездки: на местах массового уничтожения евреев нет самого этого слова — *евреи*; на памятниках: "Жертвы нацизма", "советские люди", будто "евреи" — запретное слово. В 1945 году на Панарах, близ Вильнюса, где были расстреляны десятки тысяч литовских евреев установили памятник — "*евреям*", погибшим от рук немецко-фашистских убийц; в 1952-м камень заменили новым с надписью на русском и на литовском: "жертвам фашистского террора". В Вильнюсе Хае попалась брошюра, изданная в шестидесятые годы: "Панарская земля — индустриальное сердце Вильнюса"...

Мой отец родом был из Вильнюса — из Вильна! — молодым человеком он был отряжен семейством на медицинский факультет (вековая мечта: старший сын — доктор); папа окончил Казанский университет, попал врачом на Первую мировую войну, после на гражданскую, — когда океан событий начал понемногу улегаться в берега, выяснилось, что Вильню больше не Россия — Польша, а с 39-го года — Вильнюс и Литва, выяснилось, что папа под отчий кров уже не вернется, что свидеться с родными для него затруднительно, если вообще возможно, выяснилось одним словом, именно *одним словом*, неким клеймом, к нему теперь прилепленным, что у него отныне "родственники за границей" (одно слово!) — и это столь же печально, но неизмеримо более опасно, нежели все остальное, перечисленное выше.

Из детства остались в памяти красивые, не похожие на наши, белые на подкладке из цветной папиросной бумаги конверты, марки с видом какого-то украшенного колоннами здания, всегда одинаковые, отличающиеся только цветом — либо темно-зеленые, либо коричневые, — с надписью "Poczta Polska", письма приходили редко, позже и вовсе перестали приходиться: надо полагать "родственникам за границей" дан был сигнал прекратить переписку, литовских марок уже не было.

Я с детства знал папины истории про "Вильну" — во время летних прогулок, или так, по какой-нибудь ассоциации, он рассказывал мне о своей семье, о ранних своих годах, о необычном для меня быте, обычаях, нравах. Из папиных рассказов в моем воображении откристаллизовывались картины никогда не виданной мною жизни, в них причудливо соединялось выдуманное, вычитанное в книгах и составленное из фрагментов действительности, мне знакомой; в этой воображаемой действительности поселились (и до сих пор обитают) такие же воображаемые люди. Папин отец, мой дед, удачливый скорняк, крепкий рабочий человек, к тому же и человек общественный, в детстве моем сделался для меня легендой: вот, вооруженный

винтовкой, он в отряде самообороны защищает свою улицу от погромщиков, вот хватает за грудки полицейского, оскорблявшего словом и действием вдову с детьми, и, раздирая на нем форменный мундир, пытается бросить его через перила моста в реку (община за немалые деньги откупила его от суда и Сибири), — сохранилось несколько его фотографий, в юности я был на него похож, во всяком случае, унаследовал одну странную его внешнюю особенность — при черных волосах светлые рыжеватые борода и усы. В отличие от деда, бабушка, папина мать, имела для меня реальный прототип в лице родной ее сестры, жившей в Москве; опять же по фотографии судя, сестры были одна на другую очень похожи. Папина тетя обитала в одном из сретенских переулков, на четвертом этаже мрачного кирпичного дома. В углу комнаты (квартира была коммунальная) стояла несколько необычной конструкции швейная машина — муж тети, папин дядя, пока не были запрещены всякие домашние промыслы, шил перчатки. Дяд (а для меня, за неимением другого, настоящего — "дед") был суровый, с мушкетерской бородкой и усами торчком старик, интонации у него были такие, будто он все время покрикивал на собеседника; на папу он постоянно обижался из-за того, что папа не находил времени навещать его почаще, так что наш визит обыкновенно начинался с шумного выговора, который дед делал папе; распадаясь, он переходил на еврейский язык и становился еще шумнее; тетя (моя — "бабушка") махала на него коротенькой рукой, чтобы он не пугал ребенка, и, пока дед с папой еще некоторое время продолжали ритуально ссориться, — причем папа, обиженный, несколько раз выходил из комнаты, громко хлопая дверью, и тут же возвращался обратно, — усаживала меня за огромный, накрытый клеенкой стол и ставила передо мной тарелки и блюда с едой, которую я только и ел несколько раз в году, у нее в доме, многого из того, что я ел тогда, я более в жизни уже не пробовал — какие-то особенные клецки, катышки, тефтели, фрикадельки, мясные и рыбные (все круглое и мягкое, как сама бабушка), тейглах — шарики теста, варенье в меду, и всего более поражавшее меня — самым сочетанием продуктов, являвших как бы противоположные понятия, — варенье из редьки; я жадно поглощал все, что она накладывала мне в тарелку, сама же бабушка, усевшись напротив, с жалостливым умилением, точно перед ней голодающее дитя Поволжья, рассматривала меня, склонив голову к плечу и сложив на груди ручки; время от времени она вздыхала и приговаривала: "Ис, мейн кинд" ("кушай, дитя мое").

Еще были в Вильне папины сестры — четыре сестры — я знал их по фотографиям, очень красивые, две из них страдали от рождения каким-то странным пороком — у них глаза плохо двигались в орбитах, смотрели только вперед, чтобы взглянуть вбок, им приходилось поворачивать голову, — должно быть,

поэтому на фотографиях лица у женщин несколько отрешенные, а шеи длинные, как бы несколько вытянутые, что делает их еще красивее. Еще были там, в Вильне, два папиных брата: один, способный художник, впоследствии приложил свой талант к скоряжному ремеслу, унаследованному от отца; другой — пустячный мальчик, он и в школе учился плохо, на единицы и даже нули, однажды, когда учитель поставил ему ноль, он схватил чернильницу и опрокинул ее на классный журнал (в детстве я обожал этот рассказ и требовал от папы, чтобы он повторял его раз за разом). Еще там, в Вильне, в папином семействе, жили какие-то глухонемые старухи-родственницы, — поэтому все члены семьи, от стара до мала, знали язык глухонемых и умели объясняться жестами, и папа умел.

У папиных братьев и сестер были дети, и, пока не прекратилась переписка, из красивых конвертов на цветной подкладке извлекались порой фотографии девочек и мальчиков в красивой — "заграничной" — одежде, среди этих фотографий была одна совершенно умопомрачительная: очень красиво, не по-нашему одетый мальчик положил руки на руль двухколесного велосипеда, тоже очень красивого — "иномарки", ногу поставил на педаль и делает вид, что разгоняется, а на раме сидит девочка в светлом платье, платье короткое, у девочки длинные ноги и красивые туфельки; может быть, на самом-то деле все было не такое и красивое — мальчик, девочка, одежды, разве что велосипед "иномарки" (для нас, московских ребят, — мечта!), но сама фотография была уж больно хороша — с полутонами, на кремовой шероховатой бумаге, с зубчиками по краям (на такой что ни напечатать — загляденье!).

Я обозначил лишь некоторые внешние приметы, но были еще истории — *история*, если угодно: к примеру, папины рассказы про гимназию — попасть в нее было чрезвычайно трудно (процентная норма), учиться еще труднее, иные учителя преследовали трех- или пятипроцентных детишек и юношей насмешками, придирками, непомерными требованиями, доводили до психического расстройства, ставили на грань самоубийства, в годы папиного учения один либерально настроенный педагог, не выдержав такой жестокости, вызвал на дуэль коллегу-черносотенца, возникло какое-то громкое дело; а рядом, в тех же папиных рассказах, уже слившихся в целое, в *историю*, — идиллическая поездка на праздники к деду-кузнецу (папиному деду) в какое-то родовое местечко: нанималась фура, запряженная парой сильных лошадей, в нее грузилась провизия в корзинах, кувшинах, ведрах, постели, подарки, тут же усаживалось все многочисленное семейство, не забывали и глухонемых теток... куда они держали путь?.. На карте Литвы в двадцати пяти километрах южнее Вильнюса я обнаружил местечко Порудамины и, несколько произвольно, по созвучию с фамилией, решил, что это оно самое, откуда мы "есть, пошли", — не

давно я наконец сумел побывать там. Мы побродили по пустым улицам, селение, наверно, пострадало от войны и от времени, сейчас, во всяком случае, едва не все дома отстроены заново, время стояло осеннее, дождливое, остро пахло землей и какими-то травами, которыми заросли улицы и дворы; был — удивительно кстати! — католический день Поминовения, дряхлая старуха, говорившая только по-польски, объяснила нам, что все в костеле, следом за нею и мы отправились туда. Костел в Порудаминах — просторный, высокий, с деревянными некрашенными полами и белеными стенами, украшенными картинами какого-то литовского Пиросмани, потрескивали свечи, все люди, до единого, заполнившие костел, держали их в руках, свечи, в отличие от тех, что бывают в православных храмах, были большие, толстые, похожие на комнатные, мы тоже взяли по свече и затеплили от огня у кого-то стоявшего рядом, расплавленный воск стекал на пальцы и застывал на них теплыми, ломкими струйками...

Но вдруг все папины истории о его детстве, вся папина начальная история, весь тот дальний, неведомый быт, обозначенный понятием *Вильна*, живший во мне как особый, полуфантастический мир, вдруг весь этот навоображенный мир превратился в законченно реальный, такой близкий, что рукой подать, всего какие-нибудь двадцать часов езды, если не меньше. Летом 40-го года Литва оказывается в составе Советского Союза — и у нас нет больше родственников за границей; через несколько месяцев папа получает письмо от матери и других родных, которых не видел с юных лет, переписка возобновляется, один из братьев (способный и трудолюбивый) вышел в незаурядные мастера, делает какие-то особенные ковры-картины из меха, фотографию одной такой картины нам присылают — на фоне фабрики с дымящимися трубами огромная фигура рабочего с красным знаменем в руке, картину эту намечено послать на Сельхозвыставку (нынешнюю — Достижений народного хозяйства), где срочно сооружают павильоны прибалтийских республик; папа обращается в милицию с просьбой позволить ему свидание с родными и выдать пропуск для поездки в Вильнюс; решено, что папа едет со мной, мама остается дома; мы в предотъездном волнении, обсуждаются и ищутся подарки для мальчиков и девочек, у которых такие нарядные костюмы и даже двухколесный велосипед иномарки; пропуск выписан на 21 июня 1941 года, накануне папа отправляется за ним, ему сообщают, что дата нашего выезда перенесена на 27-е... Вильнюс был захвачен в первые дни войны, а вместе с городом и весь этот мир — *Вильна*: папина мать (отец к тому времени умер), братья, сестры, мальчики и девочки с кремowych, обрезанных зубчиками открыток остались в городе, в гетто и расстреляны...

Иногда я достаю старые фотографии из конверта, в кото-

рый раз рассматриваю их одну за другой. О некоторых людях, на них запечатленных, я ничего не знаю, даже имен их не знаю, — *родственники за границей*, но о некоторых с течением лет узнал кое-что. Вот этот худенький красивый мальчик — мой двоюродный брат, его зовут, его *звали*, нет, все-таки *зовут* — Арон; на фотографии ему девять лет, он дожил до тринадцати. Детская акция в гетто, как все акции, проводилась неожиданно. Утром, когда взрослые и старшие подростки были выстроены на проверку перед тем, как вести их на фабрику, где они работали, немцы объявили, что детей, оставшихся в жилых помещениях, увозят на медосмотр. Мальчик Арон, несмотря на угрозы стоявшего у входа в жилой корпус полицая, высунулся из двери и закричал: "Мама, где взять чистую рубашку — нас везут к врачу?" Больше мама его не видела, никто не видел, кроме тех, кто его убивал, и тех, кто был убит вместе с ним. В тот же день повезли расстреливать и девочку с фотографии, ту самую, с длинными ногами в красивых туфельках, которая сидит на раме велосипеда; это моя двоюродная сестра, ее зовут Таня. Волей случая Таня не попала в первую очередь отправленных на Панары; детей, назначенных умереть во вторую очередь, на час-другой загнали в больницу, где лежали русские и украинцы, вывезенные из родных краев и работавшие на немецких предприятиях. Таня оказалась шустрой девочкой: шмыгнула в первую попавшуюся палату и залезла под кровать. Больной, лежавший на кровати, закрыл глаза, будто спит, и ее не выдал. Остальных детей скоро увезли, она уцелела. Назавтра (не знаю, как) она сумела возвратиться в гетто. Почти ежедневно, когда граждан гетто уводили на работу, немцы и полиция обыскивали жилые помещения — искали уцелевших детей. Обитатели комнаты, где жила Таня, прятали ее в какой-то узенькой нише в углу, оставшейся незамеченной из-за придвинутого к стене шкафа, иногда закатывали в постели. Так, стоя на опухших ногах за шкафом, не смея шелохнуться, или задыхаясь под грудой пыльных, слежавшихся матрасов, она дождала выигранный остаток жизни, зато (мало кому из детей выпало такое счастье) была расстреляна вместе с родителями, в один день и час, все там же на Панарах. Их после освобождения Вильнюса видел один знакомый партизан (трупы не успели зарыть): они так и лежали все рядом — семья...

Осенью 41-го года мы (я и мама) жили в Новосибирске, в эвакуации, мама работала санитарным врачом, встречала на вокзале эшелоны, везшие людей с Запада, большей частью это были ленинградцы. Однажды к поезду оказался прицеплен вагон беженцев из Вильнюса. Мама назвала нашу фамилию, спросила, не слышал ли кто о папиной родне, — нет, никто не слышал; мама закончила свои дела и уже выходила из вагона, следом за ней вышла на площадку женщина и рассказывала шопотом, что папино семейство в городе не задержалось — всех

арестовали и вывезли, в лагерь или в ссылку; не в силах носить в одиночестве ужасную тайну, мама, возвратясь домой, под строжайшим секретом пересказала ее мне, вместе мы решили, что, во-первых, сведения не достоверны; во-вторых, если и окажутся точными, папа о случившемся знать никак не может, пока не получит какого-либо официального извещения; поему, коли доведется с папой встретиться (он оставался в Москве), ничего ему не говорить. *К счастью*, женщина ошиблась: ни один человек из папиной семьи арестован не был — все погибли.

Нет, не все. Одна девочка с красивых фотографий уцелела — бежала из гетто. С воли передавали в гетто адреса тайных квартир; люди, на свой страх и риск, кто за деньги, а кто по самоотверженной доброте, прятали беглецов, добывали для них поддельные документы, по возможности переправляли их в безопасные места, некоторые — связывали с партизанами. Мать и отец добыли для девочки такой адрес (там ждал ее польский паспорт); возвращаясь с работы, она должна была незаметно выйти из колонны — в узких улицах, на поворотах были места, где это удавалось, попасться означало тотчас быть убитым. Накануне отец отпорол желтые нашивки — латы — с одежды дочери и приколол их обратно шпильками для волос; она шла в колонне впереди него; он дотронулся до ее плеча, это был сигнал, она быстро выдернула шпильки и сняла лату, прикрепленную на груди, и тотчас почувствовала, как отец снимает такую же у нее со спины; потом он слегка толкнул ее в спину, побуждая действовать и прощаясь с ней навсегда; девочка шагнула в сторону, кто-то сильно двинул ее плечом, смыкая ряды. За два-три дня до побега девочка видела, как мужчине из гетто, сунувшемуся в дверь какого-то дома, куда соваться, очевидно, не следовало, конвоир прошил автоматной очередью спину; выходя из колонны, девочка спиной ждала этой очереди. Вдруг она услышала за спиной голос матери — мать сорвалась; не выдержала: "Доченька, куда ты? Тебя немец убьет!" И следом — чей-то другой голос — негромко, торопливо: "Мадам, что вы делаете, вы ее погубите!" — девочка была уже далеко, когда поняла наконец, что пока все обошлось благополучно, — так напряженно она ждала; все остальное, что происходило вокруг, казалось ей сном. Она рассказывала, что не испытывала никакого страха, не старалась сделать все чище и незаметнее, не сознавала, что навсегда расстанется с родителями, не повторяла мысленно адрес и указанный ей маршрут, — она ждала очереди в спину и вся была своей спиной и своим ожиданием.

Ее одиссея могла бы составить отдельное повествование, смерть неотступно таскалась за ней по окраинным домишкам, чердакам и подвалам; в каком-то подвале ее прятали вместе с молодой еврейкой, матерью двоих детей, место считалось

надежным (насколько оно могло быть надежным при тогдашних обстоятельствах); кто-то выдал или случайная облава — в дом неожиданно ворвались немцы, женщина посадила мальшей в большую бочку, стоявшую в углу, сама спряталась за бочкой, девочка осталась на виду, у стены, прямо против двери, притаиться больше было негде, да и застучали уже по лестнице шаги, в подвал вбежал молодой немец в автоматом; как собака по следу, тотчас устремился к бочке, торопливой очередью разделался с детьми, с матерью; пробегая обратно, залепил девочке с размаху здоровенную пощечину, снова шумно застучал сапогами по ступенькам и скрылся. Принял за полячку? (У девочки светлые волосы и глаза голубые.) Но и полячку обязан был расстрелять, арестовать хотя бы, за сокрытие. Пожалел? Спроси у него теперь...

В Иерусалиме есть музей "Яд ва-Шем" — "Имя и Память" — он создан в память шести миллионов евреев, погибших от рук фашистов. В одном из залов — полтора десятка одинаковых стоящих досок-надгробий из черного гранита, на каждой доске — надпись: название страны и число уничтоженных в ней евреев. В основном — шестизначные цифры; пятизначные — редкость, есть и семизначные. Один из памятников отличается от прочих квадратным отверстием, прорезанным в нем насквозь; в пустом квадрате помещена маленькая детская туфелька из братской могилы; на доске выведено: "Страна Детства — 1500000" — полтора миллиона.

Тут же по соседству — в нескольких шагах отсюда — мемориал этим полутора миллионам. Сначала идешь между белых колонн под голубым, залитым ярким солнцем небом, — но вот — вокруг все сумрачнее, все темнее, узкий, темный проход между бетонными стенами приводит тебя куда-то, что и помещением никак не назовешь, скорее — *пространством*, пространством это, космос, если угодно, заполнено плохо проницаемым как бы густым стеклянным туманом (описывать почти невозможно — видеть нужно!). Узкая тропинка, которую чувствуешь только наощупь, ведет тебя сквозь этот туманный космос, а вокруг — справа и слева, над головой и под ногами, спереди и сзади, совсем рядом и на значительном, опять же как бы космическом отдалении, горят, колеблясь и подрагивая, желтые огоньки свечей. Свечи — смерть. И свечи — звезды, рассыпанные в пространстве космоса, в которые обращаются души умерших детей. Говорят, все это туманное пространство сооружено из множества стеклянных призм. Идешь, нащупывая ногой, тропинку, а ладонью — согретый ладонями идущих впереди металл узких перил, эти идущие впереди видятся темными, постепенно тающими вдали силуэтами; тихий голос поет кадиш, успокойную молитву, другой голос произносит имена убитых детей, почти полтора миллиона имен, все, что удалось найти, сохранить.

Слава Богу, я пишу о возвратившихся живыми из ада. Перед музеем "Яд ва-Шем" зеленеет парк, именуемый Парком Праведников. Каждое дерево здесь посажено в честь человека, который, жертвуя собой, уберегал евреев от гибели. Есть в парке дерево, носящее имя старого виленского поляка — Денис Неверкевич. Это его адрес держала в памяти девочка, вышедшая из колонны, ведомой с работ в гетто...

Девочка, о которой речь, — папина племянница, дочь одной из его сестер, и та самая женщина, которую я мимоходом, ночью навестил в Вильнюсе и увидел увязанные узелки в прихожей — на случай, если все сначала.

После освобождения Вильнюса девочка нашла папу, от нее-то и приезжали к нам и становились на короткий постой люди, чудом избежавшие смерти.

Среди гостей оказался и литератор Айзин, он, кажется, писал на идиш, ни до ни после нашей единственной короткой встречи имени его я больше не слышал — наверно, тогда же, в конце войны, он, как и другие многие, ушел с польской армией (или по-другому как-нибудь). Айзин приехал не за справками, не по каким-либо практическим делам: главная цель его приезда в Москву была увидеть Эренбурга, которого он называл Эренбург (с ударением на первом слоге). Он жаждал задать Эренбургу вопрос: как жить после катастрофы (от Айзина я впервые услышал это слово, ставшее позже историческим термином, обозначившим массовое уничтожение евреев).

Был этот Айзин внешне неприметный человек; столько лет о нем помню, а силюсь вспомнить его, почти ничего не всплывает в памяти: аккуратный пробор, просесть, в отличие от остальных гостей из Вильнюса (из *Вильны*) правильная — для русского уха подчеркнута правильная — русская речь (он, кажется, преподавал русский язык в школе, где училась папина племянница), серый поношенный пиджак на одной пуговице, которую он, разговаривая, то расстегивал, то снова застегивал.

Поразительно, но Айзин едва ли не назавтра после приезда попал к Эренбургу. Он возвратился от него погруженный в глубокую задумчивость (к классическому определению я добавил бы — и мрачную). "Знаете, что сказал мне Эренбург? — медленно, с излишне правильной артикуляцией заговорил он; его пальцы, сведенные скрываемым волнением, не очень успешно пытались расстегивать и застегивать пуговицу на пиджаке. — Эренбург сказал: единственный путь — это ассимиляция. Мы с папой никак не могли понять, что же худого в том, что сказал Эренбург, и что так расстроило, взволновало и даже, кажется, испугало Айзина. Ну, конечно же, ассимиляция — это так естественно, так закономерно, это рано или поздно ждет все народы нашей страны; что же касается евреев, то тут ничего иного и быть не может — мы выросли среди русской при-

роды и русской культуры, мы говорим и думаем на русском языке. А Айзин все крутил свою несчастную пуговицу и повторял упавшим голосом: "Но если ассимиляция — единственный путь, значит дело плохо..."

Для чего я пишу все это, зачем переносу на бумагу цепляющиеся одно за другое воспоминания вместо того, чтобы пересказывать события зимы 53-го? Оттого, должно быть, что именно эти воспоминания лезут ко мне в голову, когда я пишу о той зиме. В ней фокусировалось, додумывалось, заново открывалось многое, возникшее и происходившее прежде; существуя и выявляясь в нас, оно — это прежнее — создавало как бы внутренний фон времени, той зимы, внешне выплескивавшейся в поражающих низменным пошибом фельетонах и газетных разоблачениях ("для дворников" — презрительно говаривал старый российский дворянин-петербуржец), городских слухах, один нелепее другого и потому жадно принимавшихся на веру, главное же — в ежедневном, едва ли не ежечасном сгущении атмосферы: мы все более превращались в девочку из гетто, ловившую спиной ожидаемую как неизбежность автоматную очередь.

Ну, не все, конечно, — не все: недавно мне рассказали про молодую, по нынешним моим понятиям, однако уже с немалым жизненным опытом женщину, еврейку, дожившую в прекрасном неведении до самого 5 марта 1953-го, писавшую — не в стенгазете: в дневнике, для себя, — восторженные стихи о Сталине; я без малейшей иронии написал про *прекрасное* неведение: в самом деле, какой чистотой душевной надо было обладать, чтобы не замечать того, что происходило, и верить тому, во что поверила однажды, не замечать, верить — вопреки всему, вопреки тому, что глаза видят и уши слышат; 6-го марта эта чудесная идеалистка была раздавлена на Трубной площади толпой, ринувшейся к трупу своего кумира и владыки; в этой гибели есть страшная закономерность — величайший преступник всех времен и народов не мог уйти навсегда без того, чтобы не дать и этой, самой чистой, самой доверчивой своей подданной изведать всегубительность принесенного им в мир зла.

Но большинство чувствовало, наверно, тяжесть сгустившейся, казалось, до предела и однако с каждым новым утром, с каждой новой газетой, с каждым новым слухом еще более сгущавшейся атмосферы. Мы жили и исполняли свои обязанности, служебные, человеческие, — созидали материальные и духовные ценности, пользовались ими, общались, любили, ссорились, рожали детей, иные, надо полагать, даже доносили один на другого, но если не все, то большинство, осознанно и подспудно, понимало, чувствовало, что плохо дело, — мир, который мы полагали своим, который творили и детьми которого были, изогнулся в неукротимом желании исторгнуть нас из себя.

И снова я замедляю ход своего повествования (а, может быть, и не замедляю — это как посмотреть), чтобы рассказать еще про одну встречу — без малого полвека прошло, а все торчит в памяти, и здесь, представляется мне, рассказ о ней будет к месту: а не напишу сейчас, когда еще доведется, хоть и коротко, поведать на бумаге о Розенблате и Зингере.

Розенблат и Зингер, когда я познакомился с ними, были погонщиками ослов в Ташкенте. Они жили в маленькой конурке под лестницей, в старом здании учрежденческого архива, приспособленном под общежитие. Спали они на полу, постелей у них не было — так, какое-то логово из соломы и тряпья. Одежды у них тоже не было — только та, что на них; из теплых вещей — выданные им казенные телогрейки и ватные штаны. Шла война, общежитие тесно заселяли эвакуированные, всем жилось несладко, но и среди эвакуированных Розенблат и Зингер выделялись бедностью и неприкаянностью, притом — несхожестью с остальными. Сам факт, что они были погонщиками ослов (эту обязанность, как правило, исполняли местные жители), уже вызывал недоумение. Вдобавок внешний вид вопиюще противоречил выполняемой ими работе.

Про Розенблата в общежитии говорили, что он похож на дирижера: высокий, стройный, с узким лицом и зачесанными назад длинными седыми волосами; и движения у него были отточено изящные. Зингер выглядел попроще: пониже ростом, пошире в плечах, черные жесткие волосы коротко пострижены, но выражение печальной задумчивости, не сходившее с его лица, большие карие глаза, постоянно обращенные куда-то вперед и вверх, неизменно привлекали внимание пешеходов, попадавших навстречу, когда он, двигаясь неторопливой походкой, вел под уздцы ишака по залитой жарким солнцем ташкентской улице. Язык, на котором погонщики ослов объяснялись между собой, был немецкий, русским они владели слабо. Со временем я сошелся с ними, погонщиками, люди пожилые, привечали меня, подростка, я к тому же немного болтал по-немецки, это придавало им уверенности, они отвечали мне по-русски, — беседа наша ладилась. В разговоре обычно первенствовал Розенблат, его товарищ слушал нас с печальной улыбкой, вглядываясь в одному ему видимую точку над моей головой. Как бы там ни было, погонщики ослов доверили мне свою историю.

Розенблат был некогда владельцем солидной берлинской фирмы — торговля бельем. Когда к власти пришли нацисты, он отправил семью за границу, сам же не нашел сил бросить дело — решил тянуть до последнего. Последнее оказалось такое: не желаешь в концлагерь, бери узелок с мягкими вещами, станювишь в колонну и под конвоем шагом марш до границы, а там катись на все четыре стороны. Розенблата привели на австрийскую границу, и он покатился в Вену, к Зингеру. Зингер был

владельцем фирмы — тоже торговля бельем — и еще недавно числился конкурентом Розенблата. Теперь Зингер обнял нищего Розенблата и взял его к себе на работу. Розенблат уже знал то, чего не ведал Зингер, он уговаривал бывшего своего конкурента и нынешнего патрона быстро ликвидировать дело и бежать в безопасное место. Но теперь Зингер не мог заставить себя отдать за бесценок нажитое: он в свою очередь отправил семью куда-то на Запад, а сам стал тянуть до последнего. Розенблат, приспосаблившийся к самым дурным предчувствиям, не покидал его из солидарности. Они дотянули до аншлюса.

Прихватив кое-какие ценности на всякий случай, Розенблат и Зингер бросились бежать куда глаза глядят, глаза же глядели туда, куда еще была возможность бежать. Они попали в Румынию. Здесь гуманного конкурента у них не нашлось, и вообще добрые люди советовали им, хотя антиеврейские акции в Румынии еще не проводились, скрыться где-нибудь в глуши. В поисках прибежища и куска хлеба они забрели в бессарабскую деревню и нанялись батрачить к богатому крестьянину. Спустя некоторое время их освободила Красная Армия, присоединившая Бессарабию, а заодно Розенблата и Зингера, к Советскому Союзу. Бывшие владельцы фирм превратились к тому времени в такое ничтожество, что даже не вызвали интереса соответствующих органов; их не арестовали, не отправили в лагерь — выслали, правда (и тем, добавим, уберегли от печей Освенцима или Трешлинка), но выслали по какой-то невинной линии, *просто* выслали в Среднюю Азию, где они после некоторых поисков обрели кров и должность, в какой-то я и застал их.

Однажды мы вели беседу об антисемитизме нацистов, и я — к случаю — изрек: мы, мол, у себя в стране забыли, что мы евреи. Розенблат посмотрел на меня с сожалением, грустно покачал головой, прикрыв красные, выжженные солнцем веки.

— Мальчик, — сказал он, ладонью закидывая назад свои тяжелые седые волосы. — Забыть есть взаимное дело. Мы тоже забыли когда-то, что мы евреи. По воскресеньям Розенблат надевал черный фрак, цилиндр на голову, садился в коляску и ехал в кирху. Немцы улыбались мне и говорили: "Гутен таг". И я улыбался немцам, приподнимал цилиндр и говорил: "Гутен таг". Но на другой день после прихода Гитлера оказалось: немцы не забывали, что я еврей. Они уже не говорили мне: "Гутен таг". Нельзя забывать, мальчик, что ты еврей, раньше, чем это забудут другие...

Где ты кости сложил, старый погонщик ослов? Торговец бельем, доживавший век на соломе без подушки и простыни...

Не забыли другие, многие не забывали, хотя говорили мне: "Здравствуй"... Разве перед войной — теперь-то я вспоминаю явственно — не вырвалась вдруг, как пламя из уснувшего вроде бы, засыпанного толстым слоем остывающего пепла кос-

тра, внешне пусть нездობная, упрятанная под хохоток и насмешку неприязнь — чушь несусветная, распространившиеся с энергией цепной реакции смешные реплики из кинофильмов, в которых еще смели — чего не делали потом, и теперь не делают — изображать евреев? все эти "Муля, не нервируй меня" или "Абрам, ты забыл свои галоши"?.. "Абрам, ты забыл галоши", — взвизгивало смехом в трамваях, на вокзалах, в столовых, пронеслось по трибуне стадиона, гулком отдавалось в школьных этажах. И кто-то услужливо нашептывал в миллионы ушей дурацкие фразы, куплеты, вариации, все про того же Абрама, а заодно и про Сарру, — ах, как смешно, оказывается, произносить с так называемым еврейским акцентом что-нибудь немудреное, вроде: "Аб-хам, ти бы-хы-нзи хо-оцес?", можно не "бхынзы" можно "кукухузы" — тоже очень весело!.. И заговорили, закартавили, заисказали слова...

Вы не помните? А я — помню! Помню, как идем из школы смешливой стайкой, мальчики и девочки, весна, снег растаял, вдоль тротуаров бегут ручьи, от асфальта, которым недавно покрывали бульжник школьного переулка, поднимается пар, мы идем тесной стайкой, а впереди — в красной бумажейной рубашке под расстегнутым пальто, в брюках-клешах — Толик Цыганок, белобрысый, курносый, с толстыми губами, всегда от уха до уха раскинутыми в улыбке, — Толик, классный весельчак, паяц, скачет впереди, спиной по ходу движения, лицом к нам, отбивает чечетку подкованными (мода, как и клещи!) башмаками и во все горло распевает куплет про Саррочку, которая никому не даст из обильных своих припасов — ни курочку, ни яички, ни пирожки, потому что все это съест Абрам. Все смеются, я тоже иду и смеюсь, в распахнутом пальто (хотя дома строго-настрого приказано застегиваться), в узких брюках-дудочках (на клещи мама ничо чем не согласна), в неподкованных ботинках: я еще не чувствую опасности, не насторожен, я даже пытаюсь, слегка ломая язык, повторять слова песенки, которая кажется мне смешной, хотя чем-то несколько претит, я повторяю слова не потому, что мне очень хочется, просто за компанию, но тут мальчик, идущий со мной рядом, больно дергает меня за руку и побелевшими губами говорит мне: "Дурак!" Стыд обжигает меня с головы до ног, даже колени слабеют, ни с кем не прощаясь, я сворачиваю в ворота первого же проходного двора и понуро тащусь домой.

Вот о чем я хочу напомнить вам, если вы не помните, и еще хочу рассказать про одно совсем уж ничтожное происшествие — это несколько месяцев спустя, на даче, в Пушкино, — мелочь, без сомнения, один из бесчисленных узоров калейдоскопа, именуемого детством и отрочеством (ишь, как завернул!).

Вершина холма поросла кустарником, и в кустах лежим мы — я, Женька и Васька, а немного поодаль Жорка, шоколадный от загада, худощавый, гибкий красавец с тонким лицом

грузинского царевича, и Васька-большой, коротконогий, с широкими и тяжелыми белыми плечами, к которым, хоть он все лето в майке-безрукавке, не липнет загар, и с выщербленным, синеватым лицом, обсыпанным крупными, как орехи, прыщами.

Внизу — капустное поле. С холма видно, как лежат в широко распахнутых матово-зеленых крайних листьях тугие и сверкающие белые кочаны. Сейчас Жорка и Васька-большой тихо свистнут, и мы втроем бросимся сломя голову вниз по крутому открытому склону и на глазах у сторожа срежем по одному, по два (сколько успеем) упругих кочана — и снова вверх, задыхаясь и не задерживаясь в кустах, прямо в лес, следом за бегущими впереди Жоркой и Васькой-большим, и там, в лесу, когда погоня (а сторож, скорей всего, заметит) останется позади, мы отдадим кочаны Жорке и Ваське-большому. Просто так отдадим, протянем, как дань, потому что Жорка и Васька-большой — взрослые парни и очень сильные, и мы боимся их больше всяких сторожей, и больше родителей, и больше всех вообще.

Я видел однажды (мы снимали дачу у Жоркиных соседей), как Жорка, пьяный, шел с топором на своего отца: он шел по двору, слегка покачиваясь, а топор держал над головой, его отец, невысокий мужчина в длинной синей рубахе бегал вокруг сарая и кричал: "Сынок! Сынок!" На другой день Васька-маленький, Жоркин брат, сказал мне:

— Жорка у нас знаешь какой: захочет — убьет!

С тех пор я боялся Жорку и, когда он, сидя на своем крыльце, манил меня рукой, я покорно и быстро перелезал через забор, чтобы, стоя перед ним, читать ему гнусные, похабные стихи, которых неведомо где успел набраться, а для другого он меня не подзывал.

Ваську-большого я боялся просто так, оттого что он был глуп, свиреп, непрестанно матерился и смеялся над тем, что меня приводило в трепет (однажды поймал галчонка и вдыхал ему в клюв табачный дым, пока птенец не задохнулся).

И вот мы лежим в кустах и ждем сигнала, и мне уже сейчас до сжатия сердчишка обидно то, что будет потом: в лесу Жорка и Васька-большой возьмут наши кочаны и вырежут из них кочерыжки и сожрут вдвоем, сколько бы мы кочанов этих ни принесли, три или шесть, а мы будем стоять в стороне и смотреть, пока они нам не прикажут: "А ну, идите на ...", и лица у нас будут жалкие, а губы синие, как после купания, и Жорка, может быть, кого-нибудь из нас пожалеет, протянет милостиво несколько листков: "Жри, засранец!", а Васька-большой, тот не протянет, втопчет все остатки от своих кочанов в землю и будет смеяться над нами.

Жорка сунул в рот два сложенных колечком пальца и тихо свистнул, мы, будто ужаленные, сорвались с места и бросились по склону.

И тут, на сумасшедшем бегу, я вдруг увидел неожиданное: Васька-большой тоже выскочил из-за своего куста и бросился ко мне наперерез. Я сразу почувствовал опасность, что-то страшное, еще не знал *что*, но почему-то связал *это*, то, что сейчас случится (а я уже чувствовал, что случится что-то), с тем, что было утром на речке, когда после купанья я снял мокрые трусики и выжимал их, чтобы надеть снова. Васька-большой (он сидел позади меня и о чем-то шептался с Жоркой) вдруг меня окликнул, — я, сам не понимая, почему, мгновенно натянул трусики и обернулся; "Нет, ничего, — сказал Васька. — Вали отсюда!.." И вот теперь Васька бежал мне наперерез, а я до свиста в ушах прибавил ходу, потому что чувствовал, что Васькино *страшное* страшнее всех сторожей, и я подумал, и даже, кажется, зашептал на ходу: "Хоть бы сторож! хоть бы сторож!" Но Васька на своих коротких ногах бежал быстро и к тому же бежал наперерез: до меня ему было ближе, чем мне до желанного сторожа, который, по слухам, все-навсего дерет уши и отводит злоумышленника к родителям.

Васька даже не потрудился схватить меня: просто налетел своим тяжелым телом, сбил с ног, и я покатился по склону холма, сильно ушибаясь о корни и камни, а Васька сделал еще шаг-другой и упал на меня. Он лежал на мне, сопя, тяжелый, от него пахло табаком, горячим потом, и под мышками у него были густые желтые волосы, и на груди густые волосы вылезали из-под линялой голубой майки-безрукавки, и прямо перед собой, как в бинокль, я видел его выщербленное синее лицо с шарообразными твердыми прыщами, угреватый нос и черные, стертые почти до десен зубы.

— Эй вы! — крикнул Васька. — Давай сюда! Сейчас узнаем!

Женька и Васька-маленький радостно и услужливо подбежали к нам, и Жорка неторопливо (в руке гибкий пруттик ореховый) спускался с холма. Они приблизились, а Васька-большой смеялся, лежа на мне, поворачивал лицо то к одному, то к другому и повторял: "Сейчас узнаем!" А я в эту минуту хотел убить их всех и мечтал умереть.

"Сейчас узнаем!" — Васька-большой завернул мне руки за спину и придавил грудь коленом. Я втянул голову в плечи и закрыл глаза в надежде, что это поможет мне тотчас умереть.

— Вот, глядите! — Васька-большой стянул с меня трусики. И они все смотрели. А он потрогал мне *там* корявым пальцем, и я вздрогнул.

— Жид, значит, — уверенно, без интереса проговорил Васька. — Я же говорил: жиденок.

— Ну, давай, натягивай шкарята, — приказал Жорка и хлестнул меня по бедрам ореховым прутиком.

Я натянул трусики, а ни пошли. Пошли вниз, к капустному полю. Оглушенный падением, тяжелым Васькиным те-

лом, изнеможенный, я сидел на холме и видел, как Жорка, не скрываясь, нагнулся и срезал себе и Ваське-большому два здоровых кочана, а сторож стоял вдали и не подходил, потому что и он боялся Жорки с Васькой. И они, поедая капусту и соря листьями, пошли напрямик через поле, а Васька-маленький и Женька, услужливо припрыгивая, бежали следом...

Когда я вспоминаю об этом, я всегда думаю, что Жорка и Васька-большой, может быть, погибли на войне (кто знает, не у стен ли Освенцима или Трешлипки).

Во время войны мы уже внасил слышали, что евреи не воюют, сбежали спекулировать в Ташкент; когда в начале 43-го я вернулся из этого самого Ташкента, знакомые ребята из соседнего двора (а ребята в том дворе были из тех, кого нынче именуют "трудными", почти все, чуть раньше или чуть позже, пошли по колониям и тюрьмам, появлялись ненадолго, заметно постаревшие, и снова исчезали на годы; теперь я встречаю то одного, то другого: огрузневший старик в стандартном, но вполне приличном пальто, в кепке, стоит, задумавшись, возле винного магазина, почему-то обычно не в очереди, а обок, или на другой стороне улицы, стоит один, молча, углубившись во что-то свое, и с непреходящим ленивым вниманием следит за толпящимися у дверей магазина людьми, — взглядишься, да ведь это Колька Чесноков или Валька Климов, — Господи, сколько же лет прошло!), когда я вернулся в начале 43-го эти ребята из соседнего двора, прежде дарившие меня своей приязнью, заметно меня сторонились, я сразу это уловил; на второй или третий день я все же подошел поздороваться, Валька Климов сказал мне вместо приветствия: "Что? Немцев прогнали — опять абраши Москву захватывают?.." И прибавил: "Да ты не обижайся, я не про тебя". Я захохотал от гнева, растерялся, попробовал тотчас восстановить историческую истину, начал было: "А ты, а вы..." Колька Чесноков с кривой улыбкой, весело смотрел на меня, ошеломленного, довольный произведенным эффектом — последняя моя с ними беседа. Сейчас, когда вижу кого-нибудь из них, бывает, вдруг тянет заговорить, но так они искренно смотрят сквозь меня, так несомненно не узнают, что не решаюсь нарушить их думу.

Погощик ослов был прав: нацисты обладали великолепным талантом напоминать о том, что мы — евреи, не только нам, евреям, напоминать, но и всем остальным, рядом живущим, и, Боже мой, как это легко вспоминается.

Было бы преувеличением утверждать, что ярмо еврейства постоянно пригибало нашу голову к земле, но мы постоянно помнили о нем; в отрочестве при выяснении отношений, в школьных драках, в уличных стычках, даже во время танцев где-нибудь в *чужом* месте подсознательно приходилось быть готовым к тому, что обстоятельство отягчатся для тебя саркастическим или гневным напоминанием тебе, *кто ты*, и нужно

не потеряться, тотчас ответить, приберечь на такой случай удар или слово.

Однажды мы с приятелем ехали в трамвае, рядом с нами оказалась девушка, необыкновенно миловидная, пушистая блондинка, с вздернутым носиком, с ямочками; мой приятель попробовал заговорить с ней — получилось, девушка очень симпатично отозвалась на какие-то его шуточные реплики, соседи по вагону, сидевшие и стоявшие вокруг, уже с интересом наблюдали за начавшейся игрой, как вдруг на предложение моего приятеля сойти погулять, девушка, улыбаясь своими ямочками, четко и громко отрезала: "Нет, я с евреями не гуляю". И снова соседи по вагону с интересом смотрят — что дальше? А мы не знаем, как быть дальше: что ни придумай — все глупо. Глупо делать вид, что ничего не произошло, и начать вдруг деловито переговариваться между собой — глупо, и пробиваться к площадке, чтобы немедленно, на следующей же остановке сойти, — тоже глупо. Так мы и ехали и молчали, уставясь в окно поверх пушистой светлой головки, каждый сам по себе, и все продолжали нас разглядывать, пока мы не вышли, и девушка с холодным весельем в голубых глазах смотрела на нас, и след улыбки задержался на ее прелестных губках.

Ну, конечно, были у меня нееврейские девушки, даже по большей части — нееврейские, по большей части вот такие пушистые блондинки, и я в них безоглядно влюблялся, и они в меня влюблялись, и мы не думали ни о чем, до поры, во всяком случае. И среди моих приятелей никогда не было преимущественно евреев; завязывая отношения, я никогда об этом особо не думал (хотя прислушиваться приходилось, конечно, чтобы потом не "наткнуться") и с большинством приятелей годы живу душа в душу, пресловутый "вопрос" не порушил нашей дружбы. Но когда евреев упрекают в излишней мнительности, что ж, готов согласиться — мнительны, конечно: пережить такую встречу с девушкой в трамвае для подростка недешево стоит, урок на всю жизнь, а сколько в жизни каждого из нас, и в отроческие годы, и в зрелости, и в старости таких встреч!.. И, пожалуй, еще утомительнее их постоянное ожидание.

В первые же послевоенные годы антиеврейская напряженность стремительно возрастала, одна за другой следовали государственные акции, возбуждавшие поддержку снизу, частью добровольную, частью основанную на том, что таковые акции, по обыкновению, воспринимались как приказ. Борьба с космополитизмом. Разгром антифашистского еврейского комитета, начавшийся с убийства Михоэлса. Дело было настолько откровенно и грязно сработано, что, похоже, на то и был расчет, чтобы все поняли — убийство; спустя некоторое время Михоэлса, словно это было нечто давно известное, именовали в статьях агентом мирового сионизма — убийство становилось как бы обоснованным и справедливым.

Одновременно с разгромом Антифашистского еврейского комитета была уничтожена еврейская литература в СССР, большинство писателей погибло в тюрьмах и лагерях; еврейский театр, которым некогда гордились на весь свет (как же, решили еврейский вопрос!) тоже ликвидировали, многих артистов арестовали, посадили и Зускина, всемирно знаменитого напарника Михоэлса, шута в его "Короле Лире" и свата в "Фрейлехес".

В еврейский театр я случайно забрел незадолго до его уничтожения. Моей спутницей была озорная девица, к "избранному народу" отношения не имевшая, мы довольно долго таскались по зимнему городу в поисках какого-нибудь пристанища, отчаянно замерзли, ткнулись в кино — не попали, на Малой Бронной у плохо освещенного подъезда никто не спрашивал лишнего билета. "Пошли в еврейский театр?" — предложила девица, выговаривая на южный лад — "еврэйский", и залилась хохотом. Я решил, что она шутит. "Нет, я серьезно: пошли в еврейский театр!" — "Дура, — сказал я, — там же спектакли на еврейском языке." — "Но в буфете они хоть понимают по-русски? — веселилась девица. — Эх, ты, еврей! Своего языка не знаешь. Ну, как будет по-еврейски — два стакана чая и два эклера? А пиво? Пиво — как будет?" Мне тоже сделалось весело — мы направились к кассе, около которой никого не было.

Пьеса была о войне, о партизанах, не о еврейских партизанах, а о нескольких евреях, избежавших фашистской казни и попавших к партизанам, евреев таким образом, как помню, среди действующих лиц было немного, но дело не в этом, конечно, — в шекспировском "Короле Лире", постановкой которого театр снискал мировую славу, евреев среди действующих лиц вовсе нет, — не в евреях-персонажах было дело, а в том, что пьеса была никудышняя, что-то виданное-перевиданное: обнаружив в первом акте ружье на стене, можно было не только с уверенностью сказать, что в четвертом оно выстрелит, но и без труда догадаться, что произойдет на сцене от появления ружья до выстрела из него. Артисты (и бедный Зускин между ними) разыгрывали что-то долгое, скучное, до последней запятой знакомое, мы же с моей спутницей от выпитого чая согрелись до опьянения и вовсе разошлись. Особенно веселило нас то, что большинство героев пьесы, заведомо не-евреи (артисты вдобавок всячески старались подчеркнуть, что изображают именно не-евреев), вели свои диалоги на идиш: сочетание славянских имен, русских словечек в тексте, "мужицких" ухваток, с которыми они произносились, и еврейской речи очень нас смешило в тот вечер. Знать бы, что перед нами умирающие гладиаторы!..

Однако — стоп! Красивую фразу про "умирающих гладиаторов" я припас, как выстрел из ружья под занавес, едва затеял разговор о еврейском театре, но теперь, когда она вылупилась из скорлупы и предстала во всей очевидной своей наго-

те, меня одолевают сомнения. Разве люди в зале, думаю я, не были такими же "умирающими гладиаторами" (коли полюбилися мне этот образ), как люди на сцене? Разве я с душой уже опаленной пылавшим пожаром беспощадной борьбы с космополитами и псевдонимами, истреблением евреев-поэтов и евреев-антифашистов, убийством Михоэлса, чьей последней, как бы посмертной постановкой была объявлена бездарная пьеса, разыгрываемая перед моими глазами, опьянев всего-навсего от чаю, не хотел беспечно в тот вечер вместе со смешливой своей девичей?.. Я стыжусь этого. И вместе — не стыжусь. Мой смех — это былинка, взламывающая камень, сила жизни, которую не в силах искоренить в человеке ни угнетение, ни страх, ни, кажется, самая смерть. Сила жизни, раздувающая искру надежды вопреки всем доводам разума и неотвратимости обстоятельств. Или, быть может, наоборот: надежда, распаляющая силу жизни, когда и рассудок и обстоятельства неуступчиво предвещают гибель.

Я читал дневники людей, погибших в гетто: человека давно нет на свете, а истершиеся листки, часто обрывки, бумаги, наскоро исписанные карандашом, сохранились. Тонкие до прозрачного клочки бумаги повествуют нам о тех, кто круглые сутки жил под дулом автоматов, кого всякий день десятками, сотнями увозили на расстрел, но в ком сила жизни и надежда до последнего отпущенного людям мгновения разжигали одна другую. Какие-то жалкие имущественные дела, споры, драки, преступления, соперничество, любовь, ревность, плотские утехы, жертвоприношения, увлеченные занятия искусством... В книге Эли Визеля, нобелевского лауреата, читаем: товарный вагон, битком набитый завтрашними трупами, мчится к месту массовой казни, и в темноте тесной и душной его утробы, среди плача, стонов, воплей обреченных, детского крика, предсмертных бесед, ледящего молчания ужаса — вдруг смешки, возня, вздохи совокупающихся пар, ссора из-за куска, предложение поменять что-либо из вещей; в роковой точке "А" или "Б", куда, как в арифметической задаче, с предусмотренной точностью ответа направляется поезд, там сытые стрелки, перебрасываясь немудреными шутками, деловито прилаживают к автоматам до отказа набитые патронами диски, заряжают лентами пулеметы, подсоединяют к трубкам газовых камер свеженаполненные баллоны, — темный вагон мчится в ночи, с каждой минутой приближаясь к роковой точке, а мертвецы все не желают расставаться с жизнью...

Темный зал театра, в котором я от души смеялся в тот холодный зимний вечер, был подобие такого мчавшегося навстречу гибели вагона, где на равных правах разместились и артисты и зрители, вот только, пожалуй, конечная станция для каждого из сидящих здесь была определена особо, — счастливы те из нас, кого спустя четыре года вынесло из тогдашней

ночи в мартовское утро пятьдесят третьего... На близких же станциях смерть уждала самый театр; убийцы намеревались вместе с театром уничтожить и самую память о нем. В библиотеках книги, посвященные еврейскому театру, оказались в спецхране, где в ту пору кто-нибудь, даже имевший такую возможность, вряд ли рискнул бы прикоснуться к ним, а после всяческими путями и вовсе были спроважены в небытие. Во дворе театрального музея разложили костер, чтобы сжечь эскизы декораций, работы Тышлера (это точно) и, кажется, Фалька; когда огонь разгорелся, начальство, наблюдавшее за проведением мероприятия, удалилось в помещение, — и тут некоторые отважные сотрудницы музея начали выхватывать из пламени то, что можно было еще спасти, пусть отчасти, так и хранятся они сейчас эти полусожженные листы — бесценные совместные творения славных мастеров и славной эпохи...

Пора однако возвращаться в 1953 год, в неприятную его зиму, к тем мелочам моей жизни, следы которых я высматриваю, выщупываю в своей пробужденной памяти.

В последних числах февраля вдруг объявился в Москве мой батарейный замполит Володя Савельев, с вокзала он позвонил мне и попросил разрешения заехать, жить в столице ему было негде, делать нечего, я предложил ему остановиться у нас — он на это и рассчитывал. Надо сказать, я не сразу распрощался с моей, как принято выражаться, армейской семьей, с двумя-тремя сослуживцами успел даже обменяться письмами, Володе Савельеву я тоже написал — и вот по какому поводу. В ту пору меня свели с одним сотрудником "Литгазеты", и он, движимый желанием помочь мне, предложил подготовить для печати подборку солдатских писем о воинской службе; "организуя" их, я адресовался к Володе и получил в ответ пять или шесть исписанных тетрадных листков, выжать из них что-нибудь дельное было невозможно, в тексте живого слова не было — сплошь цитаты из тех же газет; к письмам была приложена сопроводилочка от замполита, он писал, что личный состав батареи гордится мною, что же до него, до лейтенанта Савельева, то он навсегда останется верен нашей с ним воинской дружбе. Я сочинил все пять писем заново, но в газете их все равно не поместили (замечу, что не вижу в этом злого умысла редакции, — материал получился никудышный), после этого переписку с бывшими товарищами-однополчанами я прекратил, но не потому, что их, сочиненные мною послания не появились на газетном листе (этому можно было найти достойное объяснение), а потому, что с разворотом событий очень уж образно представлял себе, как во время утренней политинформации румяный Володя читает в батарее сообщение о врачах-убийцах, или фельетон про ротозей и злодеев, или что-нибудь про любимого тогда всеми Юлиуса Фучика (его "Репортаж с петлей на шее" — почти во всяком доме настольная книга) — по новым данным

выходило, что героического писателя вовсе не фашисты убили, а евреи. Я мысленно видел себя на такой политинформации и писать бывшим сослуживцам мне больше не хотелось.

Когда Володя Савельев позвонил с вокзала, я, в ожидании его прихода, разложил перед собой старинную настольную папку, зацепившуюся в нашем доме из прошлых времен, пресс-бювар, так она, кажется, именовалась: светлый серо-зеленый суконный переплет, уже тронутый молью, по нему шитье — лиловые и лиловато-розовые ирисы, между створками переплета, обтянутого изнутри темно-зеленым муаровым шелком, — толстый лист промокательного картона в давних расплывшихся чернильных следах; старинный бювар я раскрыв перед собой *от стыда*: мне не хотелось, чтобы Володя понял, что человек, которым гордится личный состав батареи, влачит свои дни никому не нужный, неприкаянный; в папку я сунул внушительную пачку измаранной мною бумаги — черновики передачи, которую мне заказала было знакомая радиоредакторша, но через несколько дней, не скрывая паники, отменила заказ. Володя с порога — оглаживая гимнастерку на коренастом, крепком теле — тотчас заприметил развернутый пресс-бювар: "Вкальываешь?" — я молча и как бы обреченно пожал плечами, что равно могло означать и "Ничего, брат, не поделаешь — работы невпроворот!", и "Какая там работа, так, баловство одно!" Эффект был достигнут, я быстро убрал папку, теперь уже стыдясь, что раскрыв ее.

Я-то полагал, что Володя объявил в своем семействе временное прекращение огня по случаю наступившего Дня Советской Армии и приближающегося Восьмого Марта и прикатил в столицу проветриться, и, хотя было мне не до гостей, я старался убедить себя, что, коли это уже произошло, приезду лейтенанта следует, пожалуй, и порадоваться: два-три дня, пока он здесь, я смогу законно, не оправдываясь перед собой и перед другими, прекратить бессмысленные "поиски работы" и буду вынужден, если и думать, то не говорить с утра до ночи обо всем тревожном, наболевшем, страшном, что постоянно в ту пору занимало наши мысли и толклось в наших разговорах. Встряхнусь, подумал я, вместо бесцельных путешествий по городу повозу замполита по магазинам и кафе, поболтаю о всякой ерунде, о политике, понятно, ни слова, если лейтенант заведет разговор, тотчас переведу на другое, про себя совру, что готовлюсь писать книгу об армейской службе, лучше же всего пить побольше, но не заливать тревогу, от чего она делается еще нестерпимее, а небольшими, но постоянными приемами спиртного поддерживать в себе приходящее в первые минуты желанное ощущение, что все как-нибудь да обойдется. Одно меня томило: не хотелось, чтобы Володя ночевал у нас и, если неизбежное произойдет именно в эти дни, оказался его свидетелем, — мне заранее было *стыдно*, неловко перед ним за это.

Но лейтенант Савельев приехал не гулять, совсем иная причина, куда более серьезная, привела бывшего замполита в столицу: "газель", его жену, арестовали. Володя, понятно, знал мало, но вот что можно было предположить исходя из того, о чем спрашивали его полковой "особист", одетый в форму капитана-связиста долговязый человек, худой, смуглый, похожий на собственную тень, и вместе до странного неприметный, может быть, оттого, что его старались не примечать, а также представитель откуда-то свыше и со стороны; народ вокруг тоже, известное дело, хоть и страшился, а болтал.

То ли у самой газели, когда обслуживала она особо приятного ей клиента, между компрессом и массажем сорвалось с припухлых, прельстительно приоткрытых губ неосторожное словцо, то ли, наоборот, обиженный, не встречавший в парикмахерской любезного приема клиент, раз в две недели неохотно подстригаемый ею под полубокс, что-то выведаль, вычислил, просто выдумал, только однажды и офицеры, и, особенно, офицерские жены вдруг, разом, словно чья-то невидимая рука врубила звук, заговорили, передавая друг другу как бы по секрету, но при том как бы и не по секрету, как бы даже поглядывая наверх в ожидании соответствующих мер, что газель-де не та, за кого себя выдает (хотя она ни за кого себя и не выдавала), а является представительницей одного из кавказских народов, которые высочайшей волею "чудесного грузина", знатока марксизма и национального вопроса, сорваны были с родных гор, пылью развеяны по зауральским просторам и объявлены несуществующими. Тут, как бы для развития сюжета, возник в части недавно назначенный инженер-капитан, красавец с лицом врубелевского Демона, о каковом сходстве он сам поспешил в короткое время оповестить офицеров и, еще более, их супруг, — его появление тотчас вызвало раздоры в стане полковых богинь. В те самые дни, когда подозрения о происхождении прекрасной газели разгорелись уже достаточно жарким пламенем, у инженер-капитана пропала из левой сумки тетрадка, не то что бы секретная, но в связи с пропажей как бы само собой становящаяся таковой и, чем дольше шло расследование, тем все — более. Вскоре, в ходе розыска, демонический инженер-капитан застенчиво объявил, будто злополучная тетрадь извлечена из его сумки в парикмахерской; сумка висела на вешалке у входа, но, кроме него, инженер-капитана, и газели в помещении никого не было, так как газель, снизойдя к его просьбам, согласилась обслужить его в нерабочие часы; дверь по этому случаю была заперта.

Как большинство мужей, Володя узнавал о событиях в жизни жены несколько позднее, нежели все остальные; и на этот раз он еще ничего не знал о повороте событий, когда запыхавшийся вестовой приказал ему срочно явиться в палатку к связисту-особисту (наш полк располагается тогда в палатках,

разбросанных по склонам сопкок, офицеры жили в бараках при- тулившегося внизу между сопками кирпичного завода). Во- лодя с его открытым румяным лицом, доверчивыми и внушав- шими доверие голубыми глазами, мягкими, зачесанными назад светлыми волосами внутренне удивительно соответствовал своей наружности: человек открытый, он говорил то, что ду- мал, и не думал, кажется, ничего такого, чего нельзя было го- ворить, ну, разве самую малость, без которой не обойтись в об- ществе, где мысль изреченная с поражающей легкостью оборо- щивается гибелью для того, кто изрек; языков, который напугал бы девяносто девять человек из ста, если не всю сотню, не по- колебал его спокойствия.

В палатке, кроме связиста, находился еще один человек, он сидел в углу, на невысоком ящике-сейфе, шапка низко на- двинута на лоб, воротник шинели приподнят, он, к тому же, об- локотившись о колено, закрывал лицо ладонью, будто подре- мывал; разглядеть его не было никакой возможности, но Во- лодя и не разглядывал. Минут десять связист, как водится, спрашивал Володю о том, о сем, о знакомых офицерах, о бое- вой и политической подготовке в батарее, о солдатских разгово- рах, Володя знал, что у *них* так принято, за годы службы ему уже приходилось беседовать с особистами, он знал, что *они* не- непременно задают десять вопросов там, где их интересует ответ только на один, но Володя на все задаваемые вопросы отвечал одинаково толково, не потому, что вел дипломатическую игру, не желая показать, что понимает их хватку, а потому, что счита- л, что, коли у *них* так принято, может, оно так и надо; на- сторожился он только тогда, когда особист попросил его при- помнить в подробностях обстоятельства женитьбы на газели. Обстоятельства были проще некуда: за неделю до окончания офицерского училища Володя Савельев зашел в парикмахер- скую подстричься и, когда тонкие, смуглые ручки мастерицы совершали последние движения расческой, укладывая его мяг- кие светлые волосы, уже сделал предложение и успел получить согласие; Володя однако насторожился: он никак не мог пред- положить, что газель завернет с жалобами в эту палатку. Воп- рос — известна ли была ему, когда он женился, истинная национальность его будущей жены, озадачил его еще больше. Володя отвечал, что и тогда была известна, и сейчас — в паспорте у нее черным по белому записано: "татарка". "Татары разные быва- ют, — не опуская ладонь с лица, подал голос человек, сидевший на сейфе. — Одно дело казанские татары, совсем другое — крымские". Володя слышал об участии крымских татар, но, при- зняться, до той поры не ведал, что казанские татары и крым- ские суть разные народы: он был уверен, что казанские — та- тары, живущие в Казани, а крымские — соответственно в Кры- му. Володя отвечал, что, поскольку училище, которое он окон- чил, размещалось в приеольжском городе, он полагал, что и не-

веста его не кто иная как приволжская, то есть казанская татарка.

Вот тут-то наш простодушный лейтенант несколько схитрил, припомнив убийственную силу ненароком вылетевшего слова, насчет чего он как политраблотник, конечно, не мог оставаться в наивном неведении. Была у Володи маленькая тайна, которую он не то что бы скрывал, но искренно не вспоминал: однажды, вскоре после женитьбы, тесно к нему прижимаясь на узкой койке в запроходной комнате-чуланчике без окон, которую она снимала у подруги, официантки вокзального ресторана, газель сладким шопотом, тихо посмеиваясь, рассказала ему, что на самом-то деле она не татарка, а татка, есть в горах такая народность — таты, но в милиции русского города, где она меняла паспорт, о татах и не помышляли, решили, что в паспорте описка, каковую, не мудрствуя, и исправили, превратив газель в татарку. Историю эту Володя, что называется, услышал и забыл, не потому, что постарался забыть, — просто забыл, не ощущая в признании любимой газели тайны: его семейная жизнь обернулась свирепой, как в доисторические времена, постоянной борьбой за свою избранницу, что же до ее этнической принадлежности, то это для Володи был вопрос даже не десятистепенный, тут для него вообще вопроса не было, тем более, что различие между неведомыми татами и татарами в его представлении было едва ли не столь же малозначительным, как между татарами казанскими и крымскими. Может быть, лишь два или три раза признание газели вдруг, к случаю, выпархивало на миг в Володиной памяти, чтобы тут же вновь провалиться в ее недра; беседа с особистом, Володя, конечно, тоже тотчас вспомнил про описку в паспорте, участь некоторых, назначенных к уничтожению кавказских народов была замполиту Савельеву известна, страшная догадка (замеги́м, необоснованная), что таты разделили эту участь, обдала его холодом.

На вопрос об офицерах, с которыми у газели замечались чрезмерно близкие отношения, Володя, всыхнув, сердито, но толково отвечал, что об этом надо спросить саму газель; на вопрос об инженер-капитане, похожем на врубелевского Демона, Володя не менее толково отвечал, что познакомиться с ним не успел, встречал только на разводе. "Ясенько", — проговорил тот, что сидел на сейфе, лениво поднялся с места, потянулся, пригнув голову, чтобы не задеть потолок, и бочком — Володя так его и не разглядел — выбрался из палатки. Свой связист-особист продержал Володю еще с четверть часа, опять что-то спрашивал, какую-то уже совершенную чушь, но с той минуты, как ушел незнакомый, Володей овладело сильное беспокойство, прежде никогда им не испытываемое, он отвечал невпопад, да и особист слушал его уже откровенно без интереса, наконец отпустил и тут же крикнул: "Дулов, свету дай" — навстречу Володе, приподняв полог, в палатку полез с заж-

женным фонарем в руке круглолицый сержант, который обыкновенно сидел здесь, в osobистской палатке и печатал на большой и шумной черной пишущей машинке "Ундервуд".

Обычно Володя допоздна задерживался в подразделении, но на этот раз тревога гнала его, в быстро густевших сумерках он побежал по крутому склону вниз, в поселок. В полусотне шагов от барака, где в узкой дощатой клетушке сложно развивалась их с газелью семейная жизнь, Володя встретил идущую от водозаборной колонки с двумя полными ведрами соседку, жену командира третьей стрелковой роты. "Дождался!" — приветствовала его соседка, женщина грубая, но не злая. Володя, стуча каблуками, избегал на проледеневшие деревянные ступени крыльца. "Да не спеши, — снова крикнула соседка. — Дверь то печатали". Володя бросился обратно к особисту, в его палатке желто светился керосиновый фонарь, круглолицый сержант, печатавший на черной, тяжелой, еще трофейной машинке, объяснил Савельеву, что капитан уехал в округ. Что делать, было совершенно непонятно; в полной темноте, больно спотыкаясь о валуны, забредая в низкорослый кустарник, Володя выбрался на вершину сопки и, прикуривая одну папиросу от другой, высадил, ни о чем не думая, не в силах проникнуть мыслью в новое, нынешнее свое положение, полпачки "Беломора".

Поздно вечером грубая соседка, жена командира третьей стрелковой роты, увидела Володю возле офицерской столовой, уже закрытой, и потащила к себе чай пить. Ее муж, ротный, был заметно не рад гостю, развернул перед собой газету и, делал вид, что читает; боясь жены, он в разговор не вмешивался, лишь изредка, не подымая глаз от газетного листа, мрачно ее осаживал: "Болтай больше!" Газель взяли в обеденный перерыв, когда она, заперев парикмахерскую, помещавшуюся в сторожке кирпичного завода, только вход был с другой стороны, спешила домой перехватить чего-нибудь; взяли ее прямо на дороге — поставили виллис с распахнутой дверцей поперек тропы, протоптанной в снегу, от кирпичного завода к баракам, и бедной газели ничего другого не оставалось, как влезть в него. Возле машины стояли двое в штатском, газель подошла, один сказал ей что-то, она засмеялась, он взял ее под руку, помог забраться внутрь. Соседка, наблюдавшая сцену из окна, решила, что мужчины повезли газель прокатиться, и помянула было ее недобрый словом, но вскоре услышала, как за стеной шмонают в Володиной комнате, шмонали, правда, недолго, потом дверь печатали. На газели было красное шелковое платье, тонкие чулки и туфли на высоких каблуках — она всегда отправлялась на работу нарядная, Володя с ней из-за этого ругался; Володя знал, что и под платьем-то у нее почти ничего нет — легонькое, больше для порядка, чем для прикрытия тела, бельишко, и зимнее пальто газель жалела носить в

поселке, надевала, когда ездила в город, по поселку же бегала в стареньком, демисезонном, холодном и сильно поношенном, — Володя из-за этого тоже с ней ругался: газель часто простужалась, голос у нее пропадал, на шее распухали железки.

Ночевать Володя отправился на сопку к старшине батареи. Утром, после политинформации о повышении бдительности, которую для личного состава всей части провел сам замполит полка товарищ Демиденко, лейтенанту Савельеву приказано было идти по месту жительства; Володя решил, что его, может быть, тоже забирают и, странное дело, даже почувствовал облегчение, — уж очень непонятно было ему, как теперь жить. В бараке он увидел, что печати с дверей комнаты сняты, тут же в коридоре дожидаясь его круглолицый сержант из обособленной палатки, он протянул Володе какую-то бумагу, велел проверить и расписаться. "Что проверить?" — спросил Володя, пробежав по строчкам и не схватывая содержания. — "А что при обыске ничего не пропало". Володя прижал бумажку к стене барака, расписался и отдал сержанту. Сержант потопал прочь, а Володя толкнул фанерную, выкрашенную голубой краской дверь и вступил в свое разоренное гнездо. Он отогнул простыню, под которой на двух вбитых в стену гвоздях развешена была на плечиках одежда его и газели, заглянул в чемоданы, их было два, приоткрыл и снова захлопнул дверцу тумбочки; из вещей в самом деле ничего не пропало, взяты были только лежавшие сверху на тумбочке три общие тетради с конспектами трудов классиков; эти тетради Володя с великим тщанием заполнил еще в училище и очень гордился ими. Все сочинения, упомянутые в "Кратком курсе" и сам "Краткий курс" сохранились в тетрадях разобранные по косточкам и разложенные по полочкам — с планом, разделами, отмеченными римскими и арабскими цифрами, с основными цитатами, взятыми в красную рамку, — и все аккуратнейшим почерком, с полями. Тетради были волшебной палочкой-выручалочкой на разного рода занятиях, семинарах, проверках, курсах, которым конца не было, — мало, что на любые вопросы в них находился ответ, не было преподавателя, который при виде таких конспектов не начинал бы испытывать к лейтенанту Савельеву исключительную симпатию. Один морячок, коллега-политработник, капитан-лейтенант, предлагал Володе за тетради шерстяную тельняшку (Володя о такой мечтал, а достать никакой возможности не было) и готов был, кажется, часы приложить: "Ты себе новые конспекты сделаешь", — уговаривал Володю, но Володя нутром чуял, что на такой подвиг человека достает раз в жизни — и на всю жизнь. Теперь тетради исчезли, и он равнодушно отметил, что равнодушен к пропаже.

Он вытряхнул на койку, на их с газелью семейное ложе, содержимое одного из чемоданов, жалкую, в общем-то, кучку ношеного тряпья, и затолкал в чемодан зимнее пальто газели,

свитер и валенки. Все три года, что он прожил с газелью, его преследовал тайный страх, что, простудившись, она заболит чахоткой и умрет; с первой их ночи началась для него эта мука, он целовал ее, а ее вдруг начал бить озноб, — не любовная лихорадка — страшный озноб, зубы у нее стучали громко, как каблуки по лестнице, ее прямо подкидывало на кровати, узкая койка тарактела, тряслась, скрипела. Володе стыдно было, что услышит официантка, у которой они снимали запроходной чуланчик, а газель шарила рукой по полу, отыскивая свалившееся одеяло, и громко говорила, стараясь унять стук зубов: "Накрой скорей... простужусь... от чахотки умру..." От мысли, что газель в красном шелковом платье, тонких чулках и выходных туфельках оказалась теперь в каменном тюремном холоде, на Володю наваливался цепенящий ужас.

Капитан-особист, когда лейтенант Савельев явился к нему с просьбой найти способ переправить газели теплые вещи, взглядел на него, почудилось Володе, с сочувственным удивлением, какие-то ниточки, морщинки сдвинулись на его неподвижном, темном, как из старого дерева, лице, Володя впервые заметил, что у него коричневатые белки глаз и узкие коричневые зубы; но тут же черты его снова затвердели, он ответил строго: "Вы что, лейтенант, не понимаете, на каком свете живете..." — и отвернулся, сразу сделавшись похожим на собственную острую тень. Замполит полка товарищ Демиденко объявил Володе, что по понятным причинам от проведения политической работы пока его отстраняют, Володю перевели на склад ГСМ, то есть горюче-смазочных материалов (где, прямо скажем, будь Савельев вражеский лазутчик, он мог бы нанести неизмеримо больший вред нашей обороноспособности, нежели читая по утрам газету двенадцати сонным сержантам, но, как говорится, тут вступают в действие соображения, нам, простым смертным, недоступные). Через неделю Володя, отваженный обстоятельствами от искренности, попросил двухнедельный отпуск, чтобы навестить мать, проживающую в Рязанской или Воронежской области, сам же нацелился в столицу, наивно надеясь, если не помочь газели, то хоть что-нибудь узнать о ней и непременно найти способ переправить ей теплые вещи. Отпуск, к Володиному удивлению, разрешили. В день отъезда соседка сообщила ему, что забрали инженер-капитана, утверждавшего, будто именно в парикмахерской у него из полевой сумки пропала тетрадка: врубелевский Демон бежал, посвистывая, с сопки, на которой располагалась его техника, и вдруг уже внизу, возле поселка, увидел перед собой гостеприимно отворенную дверь поставленной поперек тропы автомашины...

В то утро, когда Володя Савельев пришел к нам прямо с вокзала, он не стал рассказывать свою историю. Он был молчалив, выпить откасался наотрез ("я ведь по делу"), отказался и позавтракать ("спешу") — оставил в прихожей туго набитый

чемодан и исчез. Все, что произошло с Володей, мы услышали вечером, когда он возвратился домой после бесплодно проведенного дня: ничего, кроме созерцания закрытых дверей да нескольких начальственных окриков, он не вы́ходил, в инстанции, куда Савельев пробился напоследок, грозный полковник намыллил ему шею, накатал в командировочном удостоверении разносную резолюцию, намеревался сдать его в комендатуру, но в конце концов приказал немедленно отбыть к месту прохождения службы. По таковому поводу Володя сильно выпил, дома еще добавил и тут-то поведал нам все горькие и непростые события последнего месяца своей жизни. Папа, в свою очередь, несмотря на отчаянные мамины взгляды посвятил Володю в ситуацию, сложившуюся в отечественной медицине. Потом Володя выпрашивал у папы, отчего у нее набухают железки, как начинается чхотка и долго ли она протекает. Папа, увлекшись темой, отвечал обстоятельно, однако старался при этом укоренить в собеседнике основания для оптимизма. Ночевать Володя не остался.

Около полуночи я отправился провожать бывшего своего замполита на вокзал. Мы шли, оба пьяные, по заснеженному тротуару, качались, толкая друг друга плечами, мешали друг другу идти, останавливались, отбирая один у другого чемодан с зимним пальто и валенками для газели; именно в эти полчаса мы, перебивая друг друга, болтали что-то веселое и громко смеялись, я говорил Володе, что он все равно в комендатуру попадет, вот она рядом, на Басманной, он отмахивался: хрен с ней, с комендатурой, семь бед — один ответ; но, как всегда бывает в подобных случаях, то есть когда не остерегаешься, мы не встретили ни одного патруля и без приключений добрались до вокзальной площади, и тут, поставив чемодан на тротуар, Володя вдруг помрачнел и сказал: "Батя у тебя мировой — ну жеки заберут?" Я тоже приуныл и пожал плечами. "Послушай, — сказал Володя. — А на хрена все это изобрели? Ну все? И с врачами тоже?" Господи! Каждую ночь, лежа полуодетый рядом с женой, я твердил, что все, о чем спрашивает Володя Савельев, страшная, преступная ложь, что нет в ней ни грана правды — одно злодейство и начало новых злодейств!.. Но стоя с Володей в темноте под мостом, на краю вокзальной площади, один на один, без свидетелей, я испугался открыть ему то, что думал. "Понимаешь, — заблеял я, протрезвев, — наверно, что-то там происходит, чего мы не знаем; ну, не может же быть, чтобы вот так изобрели, без ничего..." Володя посмотрел на меня ледяными голубыми глазами, взялся за ручку чемодана и оторвал его от земли. "Погоди", — жалко попросил я и положил ладонь на жесткий рукав его шинели. Он резко высвободил руку: "Если ты после того, что я тебе рассказал, довериться мне боишься, значит ты — говно, — с сердцем проговорил он. — А если в самом деле так думаешь — еще хуже говно". Он повернулся и быстро зашагал прочь...

Володя Савельев! Прости мне...

С Томой Копениной, Копешей, как именовали ее в нашей округе, мы были знакомы с детства. Копеша была девочка из соседнего, "неблагополучного" двора, о котором уже шла речь, из неимущей семьи, если вообще была семья, разве что мать появлялась время от времени; имелась, правда, у Капешки младшая сестренка Нинка, в отличие от Копешки чрезвычайно хорошенькая, с широко открытыми кукольными глазами и соблазнительно очерченными губками, — малышка детским своим голоском произносила жуткие непристойности, сопровождая их нарочитыми непристойными жестами: она постоянно терлась возле взрослых девиц и их парней и с младенческой жадностью подбирала все, что плохо лежит. Копеша была некрасива: широкое лицо, раскосые глаза, вздернутый нос, большой щербатый рот. Лет тринадцати-четырнадцати она курила — по тем временам для девочки невозможно рано, иногда выпивала и по вечерам что-то делала с ребятами на широком подоконнике в темном, грязном подъезде своего дома, навсегда пропахшем кислыми щами и бельевым паром; случалось, когда возникали между нами, мальчиками, *такие* разговоры, кто-нибудь из соседских ребят подмигивал: "А ты Копешу попроси!" — и у тебя потеют ладони и ты не способен сдержать кривую, мерзкую ухмылку.

Между тем, Копеша, как я ее помню, обладала неистощимым даром сочувствия, девочкой она не ссорилась ни с кем, ни на кого не сердилась и, что замечательно, сочувствовала не только обиженным, но и обидчикам — в дурном поступке она умела находить основания, толкавшие сочувствовать тому, кто его совершил.

Перед самой войной в нашем домовом клубе возник драмкружок, очень серьезный, на широкую ногу, в детскую студию пригласили ребят из соседнего двора; Тома Копеша едва не первая разлетелась в артистки, мы ставили "Принца и нищего", наша руководительница из воспитательных соображений попробовала было вручить Томе одну из ведущих ролей, но до репетиций не дошло — выучить текст Тома была не в состоянии; ей доверили "кушать подано", но с первых репетиций она не то что выделялась, прямо-таки забивала главных исполнителей своим грубым, хриплым голосом, трубную мощь которого не в силах была унять, своим широким лицом, тяжелыми руками и ногами, которые сразу завладевали сценой. В конце концов ее поставили во главе костюмерного цеха — был у нас и такой! — Копеша гонялась за нами с иглой, булавками и ножницами: "Стой, я говорю!" Она радостно объяснила: "Какая из меня артистка, голос дурной и памяти нет, а тут я шить подучусь, буду Нинку обшивать, у нее, небось, хахалей будет — не разгонишь!" Но иногда, задолго до начала репетиции, когда лишь первые ее участники помаленьку стягивались в клуб, Ко-

пеша вдруг выскакивала на пустую сцену, отбивала тяжелыми ногами какое-то подобие чечетки и кричала, хрипло хохоча: "Во! Любовь Орлова!"

Я встречал Копешу еще сравнительно недавно (по нынешним моим меркам — недавно), лет двадцать назад, она все еще жила по соседству, выполняла в ближних магазинах разную черную работу, зимой, обмотанная в серый платок, с красным лицом и красными пальцами, торчащими из обрезанных перчаток, торговала овощами с уличного лотка. Рядом с ней я представлял как бы эталон благополучия и имел все основания стыдиться этого, но Копеша не давала мне такой возможности: если мы заговаривали, первыми же вопросами и тем, как воспринимала мои ответы, она в своем вретисце, выдыхающая запах водки, с неизменной сигаретой, воткнутой в щербину на месте верхнего переднего зуба (помнится, его никогда и не было), с первых же слов загоняла меня в положение человека, у которого не то что нет перед ней никакого превосходства, но которому необходимо сочувствовать, и Копеша сочувствовала мне. "Ой, надо же! — говорила она грубым голосом, слегка покачивая головой. — Надо же! Ну ты, это, не сдавайся!" И слегка толкала меня в плечо...

В феврале 53-го я встретил Копешу в угловом гастрономе (теперь на этом месте площадь и кинотеатр "Новороссийск") — тогда там был отдельный прилавок, где продавали в разлив красное сухое вино. Я выбил в кассе чек на стакан, подошел к прилавку и увидел за ним Копешу; на ней был не белый халат, как на других продавщицах, а серый, рабочий. "Здорово! — приветствовала она меня. — А я тут на подмене стою: баба домой побежала, мальчишка у ней заболел. Да ты зачем выбивал? — продолжала она, принимая у меня чек. — Я бы так налила. Я гляжу ты все без работы ходишь — не берут?" — спросила она так просто, что у меня не хватило духу врать ей. Я молча кивнул головой и начал пить темное, как чернила, терпкое вино. "Ты, небось, профессором хочешь?" — она привычно вернула штопор, зажала бутылку между ляжек, одним движением выдернула пробку, налила два стакана подошедшим мужчинам и еще один, который подвинула ко мне по белому мраморному в круглых красных следах прилавку. "На хрена тебе в профессора — с ними, сам видишь, какое дело", — не унимая грубого, громкого голоса говорила Копеша, тогда как я, слушая ее, краем глаза, пытался оценить двух мужчин со стаканами в руках, стоявших чуть поодаль и тихо беседовавших о чем-то своем. "Пошли на мороженое, — говорила Копеша, — как раз набирают на весенне-летний сезон. Работа чистая, на воздухе, летом тепло. Где встанешь с тачкой, кругом сразу знакомые — девки в овощном, инвалиды в киоске: ты им мороженое, они тебе яблочки, сигареточки. А то на "Динамо" пробьешься — бесплатно футбол. Стой в проходе и смотри. Ты за

кого болеешь?" — "За Spartak". — Я допил второй стакан. — "Во, молодец!"

В предложении Копеши был свой резон: может быть, в самом деле стоило *пересидеть*, переждать — оно видно будет, что будет, пока же я получаю официальный статус. Отчего бы не на мороженое? Конечно — и здесь, наверно, анкета, анкета, но, как Копеша говорит, — не в профессора, люди на летний сезон им, видно, нужны, а в самой работе есть, пожалуй, что-то привлекательное, живое, уж не хуже, чем, к примеру, корректором — тоска несусветная. Даже возмечталось: на стадионе встречаю знакомых — "Эскимо, пожалуйста, эскимо!" — пусть им будет стыдно!.. Два стакана терпкого вина и копешины прожекты разгорячили меня — уже давно не испытывал я желания беседовать с кадровиками...

У дверей кабинета собралось довольно много народу — мужчины и женщины, молодые и старые, разбитные и тихие — народ разный, но, сразу видать, бывалый, иные знакомы между собой, другие, обменявшись двумя-тремя репликами, быстро вступали в отношения, среди них мой задор простыл, я был не из этой стаи, кто-то спросил меня о чем-то — я не понял; с сигаретой я отошел в конец коридора и оттуда наблюдал, как собравшиеся у кабинета люди поочередно исчезают за дверью и почти тут же появляются снова, на ходу бросая несколько слов тем, кто еще ждет очереди, а ожидающие отвечают либо одобрительными возгласами, либо гулом разочарования.

Кадровик, тихая, аккуратная женщина с быстрыми, аккуратными движениями, привлекала меня полнейшим ко мне безразличием. Я не закончил приготовленной фразы, а она, не поднимая на меня глаз, достала из приоткрытого ящика анкету, и, так же не глядя, протянула мне: "И еще характеристику с последнего места работы". — "Я после армии". — "А до военной службы?" — ей было некогда, я ее задерживал, она уже сунула руку за следующей анкетой. — "До военной службы учился" — про топливно-техническое издательство я счел за благо промолчать, прикинув, что в воинской части характеристику не потребуют. — "Значит, с места учебы". Она сидела, по-прежнему опустив голову, рука с тонким колечком, украшенным красным стеклышком, на пухлом пальчике, нетерпеливо перебирает в приоткрытом ящике листки анкет. Некоторые из тех, кого я заметил в очереди, во время нашего разговора по второму разу входили в кабинет, чтобы оставить на столе уже заполненную анкету, в которую они тут же вкладывали извлеченную из кармана мятую бумажку с характеристикой...

"На ловца и зверь", — радостно подумал я, взбираясь по стертым ступеням старого здания МГУ (за те годы, что я служил в армии, наш редакционно-издательский факультет влили во вновь образованный факультет журналистики университета), — мне навстречу спускался сам К.И.Б., профессор редакци-

рования и стилистики, основатель нашего редакционно-издательского факультета, великий знаток трудных случаев орфографии и пунктуации: Б. хорошо знал меня, написать три строки, что с такого-то года и по такой-то я пребывал студентом Полиграфического института, оказывая успехи в учении при благонаравном поведении, а большего я и не просил, для него труда не составляло, посему, весело раскланявшись с дорогим наставником и отрапортовав о прибытии по окончании военной службы к родным пенатам, я безотлагательно приступил к делу. И еще раз убедился в том, что и без того давно было мне известно, — в силе *слова*. "Какую характеристику!.." — профессор редактирования и стилистики кричал, закинув голову, точно ему не хватало воздуха: "Какую характеристику!.. Мы не будем писать вам характеристику!.." Я хотел даже за него испугаться — уже не истерика ли, но очень он был смешон, великий знаток трудных случаев орфографии и пунктуации, создатель бесконечно менявшихся правил употребления "не" и "ни", букв строчных и прописных, слитного и раздельного написания. Ах, как он был смешон! Крупный, лысый, бархатный, с точеным орлиным носом, он стоял на узкой лестнице, закинув голову и зажмурив глаза, не в такт тому, что кричал, топал по стертому камню ступени странно маленькими при его массивности ногами в начищенных черных штиблетах и, не слушая моих разъяснений, кричал и кричал одно и то же: "Никаких характеристик!.. Никаких характеристик!.." — словно заело что-то в его лысой голове, как у щедринского органика.

В 45-м году — мы учились на первом курсе — одна наша девица, непробудная отличница, тоже дока по части трудных случаев, по счастью не в аудитории (ума хватило!), в коридоре, на переменке, спросила Б., почему у товарища Сталина в известной речи перед избирателями 1937 года "также" написано слитно, когда следом идет "как". Эта речь, которую создатель самой демократической в мире конституции начал с заявления, что вообще не хотел выступать, да Хрущев пристал: "выступи да выступи", речь эта завершилась абзацем, призывающим всех избранных в Верховный Совет депутатов походить на Ленина: они должны любить народ *так же, как Ленин*, должны быть свободны от паники *так же, как Ленин* и еще что-то, пишу по памяти, сейчас другое важно: в изданиях сталинской речи оборот "так же, как Ленин" печатался со слитным "так же" — "также", что заведомо противоречит правилам русской орфографии; об этом дока-девица и спросила доку-профессора. Он попытался отделаться коротким про *некоторые особые* случаи, но отличница была настырная: здесь как раз случай, не имеющих исключений, — и сослалась на руководство самого Б., которое мы, впервые переступив порог факультета, принимались зубрить, как "Отче наш". И тут профессор закинул голову, точно воздуху ему не хватало, и взвизгнул: "Не болтайте, чего не

понимаете! Депутат должен любить народ *также!* То есть *тоже, тоже*, понимаете ли вы, *тоже* должен любить народ!.." Он задыхнулся. "А как же как *Ленин?*" — не унималась отличница. "Ну, конечно, как Ленин!" — придя в себя, решительно прекратил дебаты Б. и, качая животом, ретировался.

Тогда, в 53-м, я вдруг вспомнил этот эпизод, протиснулся в едва заметную щель, остававшуюся между дорогим наставником и стенкой, и зашагал вверх по лестнице. В деканате я застал другого бывшего своего преподавателя — он занимал теперь административную должность, замдекана, что ли; видимо, после перенесенной в детстве болезни он сопровождал свою медлительную, с паузами не на точках и запятых речь странными плавными движениями рук и шеи; в эпоху бдительной самоизоляции, когда Махатма Ганди нарекался в энциклопедии агентом английского империализма, мы не были так умудрены в индийских танцах, как умудрены сейчас, наше представление о них ограничивалось увлекательным трофейным фильмом "Индийская гробница", где танцевальные па исполнял странный персонаж по имени Зита, не помню, то ли это был мужчина, которого играла женщина, то ли женщина, которую играл мужчина, как бы там ни было наш преподаватель с его телодвижениями носил прозвище Зита (молодые жестоки!); теперь этот или эта Зита сидел передо мной в должностном кресле, и я старался втолковать ему, что три строчки, которые мне требуются, отражают объективную истину и не нанесут никакого ущерба ни факультету журналистики МГУ, ни ему лично. Я наконец, умолк, Зита отверз уста, и его шея, плечи, руки плавно задвигались, совершая в плоскости, параллельной полу, сложные, словно намеченные лекалом движения. "Тут бы собрать... — начал он, не заботясь о знаках препинания, — обсудить... узнать мнение..." — "Слушайте, — я не выдержал и перебил его. — Мне эта бумажка нужна сегодня, я на работу устраиваюсь, не в редакцию, на простую работу, мороженым торговать..." Индийский танец прекратился. "Согласовать надо". — делово заключил Зита. Я не попрощался...

Недавно умерла Елизавета Петровна Кучборская, известный специалист по зарубежной литературе. Она принесла мне в жизни много добра — главное тем, что была в моей жизни. Я не могу писать здесь о ней подробно, а походя — не смею, хотя ее колоритная внешность, своеобразное мышление, изысканная речь, экстравагантные манеры подсказывают выразительные штрихи для портрета. В тот день мы увиделись случайно: я вышел из деканата и буквально столкнулся с Елизаветой Петровной. "Оставь надежду всяк сюда входящий..." — она кивнула на дверь деканата, захохотала своим острым сатанинским смехом и двумя пальцами резко откинула тощую прядку прямых, коротко постриженных волос за оттопыренное ухо, откуда они тотчас вернулись на прежнее место. "Что ищет здесь, печальный

путник?.." — "Характеристику, чтобы торговать мороженым". — "Не шутите так зло" — она снова откинула прядку, но не засмеелась. Мы устроились в небольшой аудитории у окна, откуда виден был забросанный снегом университетский дворик, черные деревья вдоль изгороди, вороны, сидевшие на ветвях, — ни дать ни взять модная в ту пору китайская картинка ("Сталин и Мао слушают нас", — главная наша ротная песня, под нее мы год топали в учебном полку) — я рассказал Елизавете Петровне мои приключения. "Ждите меня здесь, — приказала Елизавета Петровна, — через полчаса я принесу вам характеристику". Через полчаса она появилась с исписанным от руки большим листом бумаги: каждая фраза, нанесенная на лист убористым почерком Елизаветы Петровны, свидетельствовала о недюжинных моих достоинствах, отмечались, в частности, мои способности к самостоятельному научному мышлению, стремление к всестороннему охвату предмета исследования, начитанность, хороший слог, упоминались даже темы двух моих курсовых работ и некоторых докладов. Подпись Елизаветы Петровны была заверена круглой печатью. Я подумал, что характеристика, пожалуй, напугает аккуратную женщину-кадровика из ведомства уличной торговли. Елизавета Петровна угадала мои мысли: "Вы же человек не их круга. Они должны понять, что к ним пришел человек, которого уважают в своем кругу".

На другой день, стараясь держаться незаметнее, я вместе с несколькими другими соискателями проник в кабинет кадровички и положил свою анкету с засунутой внутрь характеристикой на стол аккуратной женщины, где набралась уже довольно объемистая стопка таких анкет. Наша группка двинулась к двери, сторонясь, чтобы уступить дорогу новым очередникам, рвущимся выйти с тележками и лотками на улицы нашей столицы, когда кадровичка медленно подняла глаза. "Минуточку", — указала на меня пухлым пальцем, на котором сверкнуло красное стеклышко. Я остановился. Она безошибочно извлекла из общей пачки мою анкету, ткнулась взглядом в первую страницу, перевернула, выдернула листок с характеристикой, не читая, присмотрелась к подписи. "Что значит к.ф.н. — вот, перед инициалами?" — "Кандидат филологических наук". Она поднялась со стула, повторила: "Минуточку", движением пальца прикрепляя меня к месту, на котором я стоял, и маленькими аккуратными шажками покинула кабинет. Мне почудилось, что дверь не сумела затвориться за ней, как она точь-в-точь такими же шажками уже возвратилась на место. "К сожалению, имеем указание — с высшим образованием не брать", — она протянула мне анкету с вложенной в нее характеристикой Кучборской...

Вдруг замерещился в уставшем от постоянных тревожных картин воображении какой-то неведомый, спокойный и добрый город, знал, что давно нет такого на свете, а замере-

щился, северный непременно, после заполярного своего житъя я не утратил охоты к северу, не потянулся по контрасту к краям полуденным, наоборот: модель города, чудившегося как извращение, поднималась в мечтах как возводятся рубленые стены на полотне Рериха. Манивший меня город впрямь переселялся в мечты с живописных холстов — заснеженные улицы, ряды желтых смолистых срубов, крашенные ставни, белый и розовый камень кряжистых двухэтажных строений, прекрасные своей простотой белые северные храмы на вершине невысоких холмов, светлые летние ночи — луга, густо зеленеющие в сумрачном воздухе, холодная гладь реки.

Дома не то что бы поддерживали идею моего отъезда, но и не возражали: мое неопределенное положение становилось опасным, опасное положение отца все более определенным, развязка близилась, родители, должно быть, питали наивную надежду, что мое бегство *в случае чего* поможет мне уцелеть, я столь же навينو предполагал, что, определившись где-нибудь, на время перетащу к себе родителей, все это были мечты — не планы, но мы, помнится, как бы всерьез обсуждали их — это дарило отдых от иных постоянных разговоров, полных тревоги и безнадёжного отчаяния. Бесцельно бродя по городу (сидеть дома и не искать работу было совестно, а искать глупо), я представлял себе, как иду утром по заснеженным улицам этого доброго намечтанного мною города, мимо желтых срубов, мимо старинных каменных строений в тихое издательство и там провожу время до вечера над доброй, серьезной рукописью, такой далекой от всего, что пишут нынче газеты и журналы, — вдруг затаился там, в дальнем городе, какой-нибудь новый Пришвин, вечером же неторопливо шагаю обратно, между сугробов, на которых лежат желтые и оранжевые прямоугольники света, падающего из уютных окон, вдыхая вкусный воздух, напоенный запахом сухого снега, навоза, печного дыма, и вот, наконец, я дома, в комнате, снятой до получения собственной квартиры у какой-то одинокой старушки, в маленькой опрятной комнатке, с простыми кроватями под белым покрывалом, вечер провожу за чтением и беседой, а старушка-хозяйка, постучав в дверь, улыбочиво предлагает к чаю брусничное варенье собственного изготовления.

Бывал я в северных городах, видел неистребимые бараки, грязь, пьянство, грубость, забитость, местное самодурство, усугубляющее всеобщий деспотизм, но вот ведь потребность надежды — в феврале 53-го, под взмахом топора, бродил и мечтал о чудесном городе, о неведомом Китеже, о чистых снегах, о разливах рек, о Пришвине, о старушке, улыбочиво протягивающей вазочку с темно-красным вареньем: безысходность мечтательна.

1 марта 1953 года (а с этого дня, с этой *даты*, если читатель еще помнит, и начинается мое повествование) я вовсе не

собирался в ЦК комсомола — я шел в гости к Борису Стрельникову, впоследствии известному журналисту, корреспонденту "Правды" в Америке, в то время, о котором веду речь, Борис занимал какую-то заметную должность в "Комсомолке" — вроде бы ответственного секретаря. Зимой 53-го мы часто виделись, хотя Борис занимал ответственную должность и карьера его ощутимо делалась. Он не был мне ни давним, ни близким другом, вообще не был другом, пожалуй, — просто приятелем, обстоятельства свели нас, и мы приглянулись один другому. Если бы той зимой 53-го Борис не поддерживал со мной отношений, я бы просто не заметил этого, но он поддерживал, и не просто поддерживал — зазывал к себе, охотно, шумно, искренно (той зимой, замечу задним числом, больше, чем когда-нибудь после).

Итак, я направлялся в гости к Борису, дни, как говорилось, огромные, пустые, я вышел задолго до срока, мне назначенного, и шагал, конечно, пешком, чтобы скоротать время — зимой 53-го у меня редко возникала необходимость пользоваться транспортом. Я приближался к Ильинским воротам, размышляя свернуть ли мне направо, к площади Дзержинского, или следовать вперед, в сторону Красной площади, когда вывеска "Приемная" на боковой двери ЦК комсомола привлекла мое внимание. А что если попробовать?..

Вхожу (это в мечтах!), прошу пропустить в отдел печати (или сектор — как он у них называется?), весело, главное — весело, рассказываю, что вот отслужил в Советской Армии, отгулял отпуск и теперь рад бы в какую-нибудь молодежную газету, в хороший северный город какой-нибудь (молодежную газету я сочинил, не будучи уверен, что у комсомола в прекрасном городе моей мечты есть издательство). Риска никакого (это я уже себя убеждаю): нет — так нет, а скажут "да" — тоже никто не заставит сейчас бежать укладывать чемодан, — но ужасно хотелось, чтобы встретили приветливо, похлопали по плечу, покудахтали, почувствовать хотелось, что — нужен (понятное, общечеловеческое чувство, в наших условиях часто высказывающее себя уродливым плодом уродливого воспитания).

Боясь раздумать, я толкнул дверь и мимо вооруженных охранников в форме солдат внутренних войск прошел в тускло освещенную приемную. Сержант, сидевший на выдаче пропусков, оказался покладистый: долго втолковывал мне, что ни в одном отделе меня не примут, пока я не изложу суть дела кому-либо из сотрудников приемной, однако в конце концов поддался моей уверенности в том, что отдел печати ждет меня не дожидаясь — назвал телефон: ладно, хоть и не положено, позвоните — пусть закажут пропуск. Я влез в могучую, как караульня у городской заставы, деревянную будку с внутренним телефоном, набрал номер. Трубку поднял мужчина. Я бодро

отрапортовал: так и так, молодой редактор и журналист демобилизовался из рядов Советской Армии, готов выполнить любое задание комсомола, хочу зайти поговорить о планах дальнейшей жизни. Мужчина на другом конце провода нелюбезно молчал, дышал в трубку. Наконец, явно не разделяя обуревавшей меня радости от возможной встречи, скучно произнес: "Вы откуда звоните?" — "Из приемной". Он оживился: "Ну, и что они?" — "В каком смысле?" — "В смысле планов вашей дальнейшей жизни?" Я сник — признался, что в приемной пока ни с кем не разговаривал. "А! Тогда сперва с ними, — мой собеседник совсем оправился, в голосе его послышалась вальяжная снисходительность. — Они, если сочтут, сами вас сюда направят". И положил трубку. "Я же говорил, — почти посочувствовал сержант, сидевший на выдаче пропусков. — Ну, да тут быстро: очереди нет. Давай хоть прямо к начальству" — и показал мне на дверь против его окошка.

Начальство (завприемной, или кем там она была) оказалась маленькой, худой женщиной, коротко подстриженной, с серым, изможденным лицом; поверх темно-синего пиджачного костюма на ней было пальто внакидку; обута она была в белые фетровые бурки, отделанные коричневой кожей — эти бурки с отворотами, мощно стоявшие вместе с всунутыми в них тонкими, девичьими ногами под письменным столом, — прямо с порога — бросались в глаза пришедшему: приближаясь к столу, я снизу вверх постепенно осваивал наружность владелицы бурок, пока не добрался до усталого, изможденного лица, накрытого коротко подстриженными в кружок светлыми, прямыми волосами. Я вдохнул побольше воздуха, норовя пропитаться необходимой мне бодрой уверенностью, и с веселым возбуждением выкрикнул первые приготовленные фразы. Женщина в бурках, глядя мимо меня, ждала, пока я подойду, и только я коснулся лобком края ее стола, перебила мои радостные возгласы: "Билет". Я, с первого шага к ее столу почуствовав, что мои фразы на нее не действуют, наскоро сочинил новые, еще более приподнятые и убедительные, — поэтому не сразу понял, что от меня хотят. "Билет, билет ваш комсомольский", — сердито и нетерпеливо повторила женщина в бурках. Я умолк и положил перед ней книжечку в потертой розовой корочке. Она отвернула корочку, кольнула недобрым взглядом портретик вождя — в профиль на фоне кремлевской стены, несколько раз цепко прочитала фамилию, перелистала страничку-другую — проверила уплату членских взносов и неуловимым движением пальцев отбросила мне билет: "Зачем пришли в ЦК?" У меня уже не хватило сил на радостное волнение. Я решил переменить интонацию — начал разговор деловито, зрело. Я лишь намечал экспозицию, она снова меня оборвала: "Почему не устраиваетесь на работу общим порядком?" Это был самый коварный вопрос — упаси Бог пропустить в свою речь хо-

тя бы тень жалобы: всякий намек на то, что и для меня, и для сидевшей напротив женщины давно сделалось понятием нарицательным — на "пятый пункт", на "не берут", толковался как провокация вообще и, того хуже, как националистическая провокация.

Я уже корил себя за глупость, за наивные мечты, за необдуманные поступки, ни на что я уже не надеялся в этом сером здании — мне бы ноги унести отсюда. Я забормотал что-то об уставе, о праве каждого комсомольца обратиться "вплоть до ЦК ВЛКСМ"... Чем больше я сдавался внутри, тем глубже она меня понимала — она как бы заполняла пустоты в оставленных мною местах. Она поднялась за столом, маленькая, как воробей, тоненькая, в наброшенном на плечи — подобие шинели — пальтеце, в своих больших бурках, которые я в эту минуту не видел, но которые отчего-то все время, пока длился разговор, держал в уме, она выпрямилась, подрагивая от гнева, маленький тонкий рот ее съезжал на сторону, она мелко покусывала нижнюю губу, возвращая его на место. Она произнесла, чекая каждое слово: "Запомните: комсомол вам не биржа труда". Я запомнил. Вот тридцать пять лет спустя повторяю, ничего не упуская. Я не переспросил, что означает это "вам": *вам* — мне или *вам* — нам? Наверно, и то, и другое.

Я вскинул подбородок, как обиженная госпожой приживалка, и, пытаясь сохранить несколько достоинства, омерзительно жалким голосом потребовал: коли в приемной моего вопроса решить не могут, пусть выпишут мне пропуск в отдел печати, за тем я и пришел. Женщина рассердилась: "Я охрану вызову!" — и потянулась над столом рукою. Она все покусывала убегающий на сторону рот, никак не могла отловить его и возвратит на место. Я повернулся и, с трудом сдерживая шаг, бросился вон из кабинета. Я не успел попрощаться с городом моей мечты, с тепло светящимися окнами на заснеженных улицах, со строгими храмами на холмах, с разливом рек, со старушкой, протянувшей мне вазочку с брусничным вареньем: я был снова девочкой, вышедшей из колонны на пути в гетто, спиной этой девочки, ожидавшей автоматной очереди...

"Ну, бери кувалду, пойдем клиренс обивать!" — весело приветствовал меня Борис Стрельников. Теперь, когда у многих завелись собственные автомобили, словом "клиренс", означающим расстояние от днища кузова до земли, никого не удивишь, но в ту пору это была профессиональная танкистская шутка: "Бери кувалду, иди клиренс обивать", — говорили старослужащие новичку, и бедолага, волоча тяжелый молот, ходил вокруг машины, отыскивая этот чертов клиренс, который, вишь, так забросало грязью, что приходится обивать. Во время войны Борис был танкистом, осколком вышибло ему локтевой сустав, одна рука была согнута и сильно короче другой. Он потащил меня в кухню, налил в стакан водки: "Ну, махнули,

обили!" Я сразу захмелел, но мне необходимо было захмелеть еще больше, чтобы унять гнев, стыд, страх, смешанные во мне и меня переполнявшие. Я рассказал ему про свое посещение ЦК. Борис слушал внимательно, навалившись грудью на стол, обхватив ладонью большой, даже слишком большой, нарушавший правильность лица лоб. "Ах, беда, беда!" — проговорил он, но только позже, вспоминая эту встречу, я понял, что эту "беду, беду" он выдохнул вовсе не о моей беседе в ЦК — шире брал; но это потом, когда все было позади, — до "позади" же оставалось пять дней всего.

Через пять дней тот же вечерний час застанет меня на Бульварном кольце, на пересечении его со Сретенкой, за которым начинается спуск к Трубной площади. Тысячи людей, охваченные порывом взглянуть на труп того, кому три десятилетия принадлежали душой и телом, бросятся в тот вечер к Колонному залу. Здесь, от Покровских ворот вниз по Бульварному кольцу для них проложат первый маршрут. Спуск к Трубной площади станет роковым: толпа, все плотнее скапливающаяся у Сретенских ворот, будет проталкивать тех, кто впереди, сквозь узкие проезды вдоль трамвайных путей на этот проклятый спуск, чтобы там настичать их, и втаптывать в землю, и ложиться рядом с ними под ноги лавины, катящейся следом. У Сретенских ворот, где каждый двигался подобно зернышку, сдавленному мельничными жерновами, меня поразит не давка, хотя уже и ребра потрескивали, не отчаянные крики, вдруг раздававшиеся в людской гуще, я вместе со всеми отдамся страшному водовороту, следя лишь за тем, несет ли он меня хоть несколько вперед или, швыряя от стен домов к решетке бульвара, возвращает в итоге на прежнее место, все такое же далекое от желанного спуска на Трубную площадь, — меня поразит, что ноги мои вязнут в странной, точно разлитой на земле повыше щиколотки, неподатливой массе, — не сразу мне удастся найти просвет, чтобы глянуть вниз и понять, что это толстый слой свалившихся и сдернутых с ног тысяч людей галош: вот тогда мне вдруг мучительно захочется выбраться из этой человеческой гущи. Я буду уже на углу Сретенки, когда следующая по ней легковая машина попытается рассечь толпу и проехать в нужном направлении. Старики рассказывают, в прежние времена господ, отгуляв почти до рассвета в ресторанах, нанимали извозчиков и отправлялись в определенное место смотреть, как крысы из продовольственных складов, насытившись, шествуют к реке — пить; крысы стекали к берегу сплошным потоком, и горе было удалцу, вздумавшему прорваться в коляске сквозь эту массу, — серый поток вдруг вздыбливался волной, слышалось отчаянное ржание лошади, крики людей — и через несколько минут, точно не было ничего, — опять ровный сплошной поток. 6 марта на Сретенке я увижу: десятки рук поднимут, подхватят автомобиль, его понесет над

толпой куда-то вбок, машина накренится, из открывшейся дверцы с воплем вывалится человек, пассажир или шофер, — не знаю, что было дальше, пожирившая машину толпа слегка раздвинется, прямо передо мной, на мгновение всего, но я вынырну из жерновов, несколько секунд поработаю плечами, кулаками, локтями — и вдруг окажусь уже в стороне от общего движения, оно еще будет задевать своим краем, но уже не подхватит, не понесет без моей воли. Я возьму правее и скоро поверну в перегороженный военными грузовиками переулок: здесь, очутившись понемногу, потирая бока и подсчитывая оторванные пуговицы, окажутся граждане обоего пола, как и я, не обладавшие должной твердостью и самоотвержением, а посему вынужденные расстаться с мыслью отдать последний поклон вождю и учителю. Но это — пять дней спустя.

А в полночь 1 марта я, совсем пьяный, вышел от Бориса Стрельникова, помаhal рукой и уселся в услужливо подкатившую левую "Победу". Мы только повернули на Садовое кольцо, как замигали светофоры, засвистели милиционеры, которых вдруг оказалось очень много, водитель резко затормозил: "Уж не сам ли едет!.." Водитель был пожилой, с солидным полным подбородком, в хорошем пальто с каракулевым воротником и полувоенной фуражке, — начальство возит, угадывалось без труда. Мы стояли долго, минут десять, водитель от нечего делать завел со мной беседу, поведал с тихим смешком, что хозяин у него остроумец, вот только что он, водитель, вез его из дома, после отдыха, обратно на службу, на перекрестке увидели двоих, один в беретке, на другом кепи меховая ("ты таких и не видел"), хозяин говорит: "Вон, погляди, шапки иностранные, а головки жидовские, обрезанные". Водитель солидно посмеялся, повернулся ко мне, приглашая последовать его примеру, я покорно улыбнулся и кивнул головой. Я был уже совсем трезвый. Я вспомнил, как утром мама, глядя из кухонного окна вслед папе, обреченно отправившемуся на службу, крепко сжала пальцами виски: "Господи, что же будет!". С Арбата наперерез через Садовую вырвался кортеж тяжелых черных машин с ярко включенными фарами, залиvistые клаксоны взрезали ночь, милиционеры еще быстрее забегали туда-сюда, засвистели еще протяжнее. Машины, одна за другой, промчались перед нашим ветровым стеклом, до ощутимого сжимая воздух, как выпущенные из реактивного орудия снаряды. "Фююить... — слегка присвистнул мой солидный водитель. — Куда это они?.." Знать бы — куда!..

Уже наступило 2-е марта.

Сергей Прокофьев

ДНЕВНИК-27

13 января, четверг.

Сегодня отъезд в Россию. Одновременно с этим ликвидация квартиры на rue Troyon. А потому — уборка, сдача инвентаря, укладка и толкотня. Даже волновались, боясь, что не кончим всего к отходу поезда... Под конец действительно пришлось порядочно спешить... Поезд страшно шикарный, синий, с золотой отделкой; я выбрал его нарочно, наперекор стихиям, дабы не жалели бедных уезжающих в страну большевиков. Ехать к пролетариям, так с Норд-экспрессом. Было много конфет, оказавшихся очень вкусными, и отъехали весело.

У Пташки¹ и у меня было по отдельному купе, которые соединялись друг с другом. Тут бы и выспаться, но в полночь разбудили на немецкой границе. Осмотр вещей и паспортов, довольно поверхностный...

15 января, суббота.

Утром Эйдкунен, бывшая русская граница, а теперь граница Германии с Литвой. Пересадка из специального вагона в обыкновенный. Холодно и зябко. Перед отъездом из Парижа я спешил сшить себе новое пальто, без меха — к общему ужасу. Но ведь в России я никогда не носил мехового, решил поэтому продолжить ту же линию.

Литовцы вежливы, спокойны и говорят по-русски, как будто не Литва, а Россия. Поезд еле тащится. В старые времена они ходили по этой линии иначе.

В вагон-ресторане меня окликнул Пиотровский — тенор, которой когда-то учился вместе со мной в консерватории. Он оказался литовцем и, за музыкальной бедностью Литвы, первым музыкантом в своем государстве. Поет он впрочем кажется недурно и для тенора очень музыкален. Первый организовал в Ковно оперу, и слава его не только распространилась по всей Литве, но и докатилась до других провинциальных столиц, вроде Ревеля и Риги. Сейчас он ехал выступать в Ригу, был мил, с удовольствием вспоминал Россию. Его пригласили опять в Ленинград, но он боится ехать: литовское правительство правит и переарестовало нескольких большевиков; видным литовцам поэтому не рекомендуется соваться в Россию, дабы не попасться в заложники.

День длинный и медленный. Поезд еле тащится. Всюду белый снег. Я спросил у Пиотровского, почему так ползет наш поезд. Он ответил философски:

— Видите ли, страна маленькая. Чем медленнее через нее ехать, тем большее она производит впечатление.

18 февраля, вторник.

...Отправились на вокзал — ехать в Большевикцию. Мелькали мысли: а не плюнуть ли на все это и не остаться ли? Неизвестно, вернешься ли оттуда или не отпустят. А тут есть целый ряд предложений концертов, и таким образом поездка в Латвию все равно не выйдет впустую. Однако трусливые мысли были отброшены и мы явились на вокзал. Поезд отходил в половину первого ночи. Стоял страшный мороз. Приятно было увидеть русские вагоны, но это все были вагоны III класса, тускло внутри освещенные. Только где-то в конце был наш вагон II класса. I класса в советской России не существует и вообще классов нет: вагоны делятся на твердые и мягкие.

...Мы вошли в наш мягкий вагон. Было неудобно: холодно, сумрачно, на полу без ковриков, умывальник в нашем купе заколочен. ...Поезд тронулся и мы в довольно среднем настроении легли спать. Русский проводник постелил нам белье, но оно было грубое и диван жесткий.

19 января, среда.

Спали мало, так как рано утром границы, сначала латвийская, потом русская. Ввиду заколоченного умывальника, пришлось бегать умываться в общую уборную, но там вода настолько ледяная, что пальцы коченели. На латвийской границе

таможенники ничего не смотрели, и мы пили кофе на вокзале. Опять приходили мысли: теперь последний момент, когда еще не поздно повернуть оглобли. Ну хорошо, пускай это очень стыдно, но в конце концов на это можно пойти, если вопрос идет чуть ли не о жизни.

...Так с этими рассуждениями мы сели в поезд и поехали в страшную СССРию. Переезд от латвийской границы до русской длился около часу. Мелькнул латвийский пограничный пост, затем засыпанная снегом канава, которая и есть граница, и поезд проехал под аркой, на которой написано "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Около рельс стоял русский солдат в матерчатой каске и длинной до пят шинели. Поезд остановился и принял солдата, который через минуту появился у нашего купе и отобрал паспорта.

Вскоре приехали в Себеж, русскую таможню. Появился носильщик и забрал наши вещи. Когда их расположили на таможенном прилавке, я первым долгом спросил, получена ли телеграмма об имевшем быть проезде Прокофьева. Телеграмма оказалась, и это сразу дало приятный тон осмотру багажа. Смотрели поверхностно, немножко перелистывали французские книги по музыке, которые я вез для Асафьева². ...После того как осмотр кончился, носильщик потащил наши вещи обратно в вагон. На стене написано, что за перенос вещей надлежит уплачивать — четвертак за штуку. Пташка советует прибавить на чай, но я лояльно возразил, что раз установлена такса, то в коммунистической стране сверх нее на чай не дают, — и не дал.

До отхода оставался час, был полдень, и мы отправились в вокзальный буфет завтракать. С любопытством рассматривали лиц, пришедших туда же, повидимому из числа служащих на станции в таможне и спрашивавших служебные обеды. У всех вид здоровый, спокойный, солидный, вежливый. Многие из простых стараются есть по возможности прилично, глупостей не говорят.

Достали кучу московских газет; несмотря на то, что станция была не особенно большая, у газетчика оказались все музыкальные и художественные журналы. Смотрел, что пишут по поводу моего приезда. Но пишут мало — в газетах главным образом речи политических лидеров.

20 января, четверг.

Проснулись рано. На улице еще темно и в купе тоже, так как сломался газ. Проводник принес свечку. К Москве подъе-

хали как-то незаметно, кажется к Александровскому вокзалу, который имеет скорее доморощенный вид. В 7.30 утра, поезд, имея за спиной некоторое опоздание, неожиданно останавливается у деревянного перрона.

Восклицания, приветствия, "неужели Прокофьев приехал в Москву!" — и мы, пересечя скверный вокзалишко, попадаем в такси, ибо в Москве теперь не очень много, но все же есть таксомоторы. Стекла у автомобиля густо замерзали и потому совершенно не видно Москвы, по которой едем. Це-це (Цейтлин³ и Цуккер) наперебой и со страшной горячностью рассказывают про хлопоты по нашему приезду, ожидания, сомнения, волнения и пр. Он, между прочим, рассказывает, что это Л. Итвинов⁴ разрешил выдать нам советские паспорта, без отбрасывания нансеновских⁵. Конечно, преследовать меня не будут, но все же лучше, чтобы я поменьше пользовался последним.

Приехали в Метрополь. Метрополь еще с самого начала советской революции был захвачен под советские учреждения и под жилища для ответственных работников, но недавно было решено, что выгоднее перевести их в другие места, а это здание вновь превратить в гостиницу. Выселять однако всех сразу в перегруженную Москву было не так легко, и потому сейчас пока очистили и вновь отделали под гостиницу один этаж, который и поступил в аренду немцам, взявшимся вести отельное дело. В верхних же этажах остались еще ответственные работники и потому всюду была ужаснейшая грязь, за исключением, впрочем, нашего коридора, где отличный ковер, хорошая парикмахерская и вообще чистота. Наш номер выходил прямо на Театральную, ныне Свердловскую площадь. Вид из окон восхитительный. Сам номер безукоризненно чист, довольно просторен и с необычайно высокими потолками. Кровати — в углублении и отделены огромной зеленой плюшевой занавесью почти до потолка. Но ванны нет и вода в кувшинах. Я заказал кофе для всех, которое принесли в стаканах с подстаканниками. Разговоров было масса, но важно было немедленно повернуться лицом к делу, так как завтра утром уже первая оркестровая репетиция. Первым делом надо было достать мне в номер инструмент; к моему первому московскому выступлению я хотел быть в форме. В России на инструменты голод: новых не выделывают или выделывают очень мало, а на выписку из-за границы не дают лицензий. Держановский предложил пройти в "Книгу" (нотно-музыкальный магазин, которым он заведывал), откуда я мог получить рояль.

Окончив кофе, отправились туда. На улицах довольно много народу. С одной стороны много меховых воротников, с

другой — женщины в платках. Сколько писалось о том, что приезжие из-за границы поражены бедностью одежды у толпы. Однако не скажу, чтоб меня это поразило: быть может, от того, что слишком много об этом кричали, а может потому, что известный процент платков и тулупов всегда гулял по русским улицам, а следовательно не удивлял и теперь. Навстречу ехали огромные автобусы — гордость Москвы. Они в самом деле очень красивы и огромны, и, хотя заказаны в Англии, гораздо лучше по линии, чем лондонские.

Рояль в "Книге" не подошел — расколоченный.

Отправились в другой магазин, кажется прежний Дидерихса, а после национализации — государственный. Там совсем новенькое пианино, довольно тугое, т.е. то, что мне надо. Я немедленно на нем остановился и в течение дня оно было мне прислано. Снова вышли на улицу. Холодно, мороз. Толпа спокойная, добродушная. Это ли те звери, которые ужаснули весь мир?

...Цуккер — активный и очень горячий коммунист. Всю дорогу он с увлечением объяснял благотворную работу своей партии. Выходило действительно очень интересно и в планетарных размерах. Очень интересно было увидеть огромное здание Коминтерна, нечто вроде банки с микробами, которые рассылаются отсюда по всему миру.

...После обеда расстаемся с ним, садимся в санки и по морозу возвращаемся домой. Мы совершенно ошеломлены Москвой, но у меня в памяти крепко сидит напоминание о том, как тщательно следят большевики за показной стороной для иностранных гостей. Делимся впечатлениями шепотом. В микрофоны, привинченные под кроватями, о которых рассказывают в эмиграции, мы не верили, но между нашим номером и соседним есть запертая дверь, через которую можно отлично подслушивать, если кому-нибудь это нужно. Засыпаем усталые вздремнув.

21 января, пятница.

...После завтрака, вместе с Цейтлиным шли по улице, и он показывал нам магазины в Охотном ряду, где мы покупали икру, сыр и масло. Икры масса, на различные цены, магазины набиты битком — прямо не дождешься своего черед. Мы ничего не понимали: где же голодная Москва? Впрочем, сегодня покупателей было гораздо больше нормального, ввиду праздников: дня смерти Ленина и воскресенья.

— Вот видите, — торжествовал Цейтлин, как у нас здесь

хорошо! Слава Богу, что уехали из Парижа. В газетах пишут, что там прямо гробов нехватает.

Я изумился.

— Как гробов?

— Ну что вы, точно не из Парижа приехали. А инфлуэнца? Ведь в газетах пишут, что ежедневно столько умирает, что не знают, как хоронить.

В общем, в Москве так же талантливо врут на Париж, как в Париже — на Москву.

22 января, суббота.

...Комната Мясковского⁶ — узкая и длинная, впрочем довольно большая, но так заставлена мебелью, что в ней трудно повернуться. Еще бы: кровать, умывальник, рояль, большой письменный стол, несколько шкапов и полок с нотами! Мясковский уж и так говорит, что то он подвинет рояль — тогда стул перед роялем упрется в письменный стол; то он подвинет стол — стул упрется в рояль. Так он и двигает, в зависимости от того, что ему нужно.

...Втроем, Мясковский, Асафьев и я вышли на улицу и пошли к Держановскому, до которого было недалеко и к которому мы все были приглашены обедать к 5 часам. Я рассказывал про Сувчинского⁷, как он живет, на ком женат, чем занимается и что такое Евразийство, умолкая, когда попадались встречные, ибо тема была нелегальная, да и Асафьев отметил, что письма к Сувчинскому и от Сувчинского по-видимому пропадают. Впрочем, переулки, которыми мы шли, были довольно пустынные и поэтому разговаривать можно было свободно.

Когда я остановился после точки, Мясковский критически посмотрел на меня и сказал:

— Ну ничего, вы кажется не забыли русского языка.

Я форменно смутился и даже рассердился:

— А почему мне собственно надо было его забыть?

Мясковский:

— Вот когда я был в Вене и встретил Сашеньку Черепнина⁸, то он заковылял такими галлицизмами, что я его едва понял, — и в подтверждение своих слов, Мясковский привел несколько галлицизмов действительно забавных.

Не скрою, что после этого я следил за своей речью и говорил запинаясь.

...Отворила дверь кухарка, и, спросив мою фамилию, пошла доложить, затем попросила зайти в гостиную, огромную

комнату, довольно комфортабельно меблированную. В соседнюю столовую дверь была приоткрыта и там кто-то читал стихи.

Через несколько минут толстая кухарка появилась опять и попросила меня войти в столовую. Навстречу появился Луначарский, как всегда очень любезный, несколько обрюзгший, по сравнению с 1918 годом.

За большим столом сидело человек пятнадцать. Некоторые поднялись мне навстречу, но чтение стихов не было еще окончено и Луначарский, жестом наведя тишину и предложив мне сесть, попросил поэта продолжать.

Фамилия поэта была Уткин и читал он еще довольно долго. Разумеется, только что попав в СССР, да еще к наркомпро-су, я ждал от стихов прежде всего какой-нибудь революционности. Но стихи по мысли и сюжету были довольно дряблые: это был скорее декаданс в его основном смысле, чем стихи бодро восставшего пролетариата. Уткин кончил. Меня знакомят со всеми, среди которых несколько полузабытых лиц из артистического мира дореволюционного времени. Жена Луначарского, или вернее, одна из последних жен, — красивая женщина, если на нее смотреть спереди, но гораздо менее красивая, если смотреть на ее хищный профиль. Она артистка и фамилия ее — Розанель.

Переходим в гостиную. Ко мне подходят какие-то молодые люди и засыпают меня комплиментами. Больше всех говорит сам Луначарский, который не дает открыть рта своему собеседнику. Он сообщает мне приятную новость: весной в Париже предвидится международное состязание театров разных стран. Четыре страны, в том числе СССР, уже выразили согласие, и в качестве боевика пошлют туда Любовь к Трем Апельсинам. Это еще окончательно не решено, но дело на мази. Несколько молодых поэтов и музыкантов, обступают меня, говорят о моих сочинениях и просят сыграть. Я сажусь за рояль среднего качества и играю марш из Апельсинов. Затем Луначарский просит одного из присутствующих пианистов сыграть финал из своей Второй сонаты, которую он называет своей любимой вещью. Пианист играет довольно неважно. От рояля переходим в другую, малую гостиную, обставленную не без уюта. Луначарский вытаскивает первый номер Лефа — новый журнал, издаваемый Маяковским. ЛЕФ — означает левый фронт. Луначарский объясняет, что Маяковский считает меня типичным представителем Лефа.

— Тем полезнее вам послушать, — прибавляет он, — обращение Маяковского, помещенное в этом номере.

Затем Луначарский не без увлечения и очень неплохо чи-

тает письмо в стихах Маяковского Горькому. Письмо в самом деле остро, а некоторые формулы в стихах просто хороши. Идея: почему, мол, Алексей Максимович, когда столько работы в России, вы проживаете где-то в Италии? Весьма назидательно по отношению ко мне, и Луначарский, окончив чтение, смеясь, рекомендует мне оценить это стихотворение. Я его спрашиваю, какое положение в литературном мире занимает Маяковский. Он отвечает, что очень хорошее, хотя некоторые и не прочь просунуть трость в калитку и подразнить Лефа. Я еще разговариваю немного с Розанель и в 9 часов прощаюсь, говоря, что хочу еще поспеть в Большой театр. Все провожают меня в переднюю, а один юноша, ученик Яворского, провожает до театра на извозчике.

— Мы вас ревнуем к загранице, — говорит он пока мы едем в санках по переулкам.

23 января, воскресенье.

Тем временем мы с Пташкой отправились к Наде Раевской на Арбат 5. Раз Шурик⁹ сидит в тюрьме за политическую неблагонадежность, то и наш визит к Наде казался нам каким-то полулегальным. А вдруг к нам вообще приставлен сыщик, который едет за нами на другом извозчике? А вдруг сыщик дежурит у ее ворот, зная, что это мои родственники и желая проверить, имею ли я сношения с контрреволюционными элементами? Словом, мы подъехали не к самому дому, а затем быстро шмыгнули в ворота.

...Раевские занимают квартиру из маленьких четырех комнат в нижнем этаже во дворе и разумеется с грязных ходом. В квартире нас встретила Катюша Уварова, которую я помнил хорошенькой пятнадцатилетней девочкой, а теперь оказавшейся здоровой, но погрубевшей барышней, лет под 30. Нади не было дома, но вылезли три ее дочери, от трех до двенадцати лет — заморыши, милые, но некрасивые и гораздо меньшего роста, чем полагалось бы их возрасту. Я быстро и вполголоса стал объяснять Кате Уваровой, что мы подождать Надю не можем, так как очень торопимся, что мне очень хочется выписать тетю Катю и Катю Игнатьеву из Пензы, что у меня для этого есть деньги, что если у меня наладятся отношения с властями, то я намерен предпринять шаги к освобождению Шурика, но что с этим не надо торопиться, — словом поспешил сразу выболтать все, что касается их семьи, имея в виду, что может быть нам неудобно будет часто сюда навещаться, а потому, чтобы сразу поставить их в курс дела.

Прощаемся, и уходя сталкиваемся с входящей Надей. Ее бурная радость, хотя в тот момент мне показалось, что в этой бурности был элемент наигранности. Тяжелые годы наложили на нее отпечаток, и она как-то странно была похожа на императрицу Александру Федоровну. Шурик мужественно отсиживает свое тюремное заключение — 10 лет, сокращенное на треть. В тюрьме сидят всякие, есть и жулики, есть и политические. Последние более или менее его круга и держатся в тюрьме вместе...

24 января, понедельник.

...Концерт окончен и артистическая набивается публикой. Одним из первых приходит Литвинов, ныне, ввиду длительного отсутствия за границей Чичерина, исполняющий обязанности министра иностранных дел. Вид у него несколько грузный, бритое лицо, тонкие губы, умное выражение, но в общем впечатление фармацевта средней руки, а с его грузностью как-то странно вяжется прищипленная к нему слава лихой экспроприации тифлисского банка. Но Литвинов важное лицо по отношению ко мне, ибо все паспорта, послабления и удобства моего приезда в СССР были сделаны через него. Он сам представляется мне и затем знакомит со своей женой — англичанкой. Меня сейчас же перехватывают другие: Мясковский, Асафьев, Моролев, теперешний директор консерватории — Игумнов, бывший директор — Гольденвейзер¹⁰, с которым, впрочем, несколько фраз не о музыке, а о шахматах, Глизр, Фейнберг, Александров и другие. Несколько отделавшись, я считаю своей обязанностью подойти к Литвинову, который сидит на диване. При моем приближении он встает — как-никак, хоть и фармацевт, но все же дипломат, и не плохой.

25 января, вторник.

..Расставшись с Асафьевым, встретился с Цуккером и отправился с ним спрашивать заграничный паспорт. Так как процедура с выдачей заграничного паспорта тянется месяц и больше, то Це-це советовали немедленно заняться этим вопросом, дабы сразу обеспечить мне выезд. Паспортное отделение помещается в учреждении, подведомственном Наркоминделу, но, как объяснил мне Цуккер, на самом деле находится в ведении ГПУ. Не без любопытства приехал я в этот филиал ГПУ. Нас принял тов. Гирин, молодой человек не без изыска, рыжеватый, резвый, хорошо одетый, напоминающий лицеиста, не-

давно попавшего в чиновники. Речь держал Цуккер, я стоял сзади. Цуккер прежде всего заговорил о Литвинове, через которого мне был устроен въезд, и вообще постарался подчеркнуть мое привилегированное положение. Но Гирин улыбнулся:

— Вы могли бы не упоминать о тов. Литвинове и просто обратиться к нам.

Затем он взял опросный лист, который был уже мною заполнен и попросил заплатить 6 копеек. Я удивился скромности мзды, но Цуккер объяснил, что за два паспорта придется заплатить 200 долларов, если не удастся получить что-нибудь вроде фиктивной командировки, при которой налог сокращается вчетверо, а 6 копеек — это только предварительная плата за бумагу. Вся работа была сделана с быстротой и точностью. Провожая меня, Гирин сказал, что с интересом вчера слушал мой концерт по радио. Я в ответ похвалил порядок в его учреждении, выгодно отличавший его от бестолковой парижской префектуры, где приходится давать чаевые направо и налево, дабы поскорее протолкнуть паспорт.

27 января, четверг.

...Возвращались домой по мягкой погоде пешком. Я шел впереди с супругами Яковлевыми, Пташка — сзади с Асафьевым. После американских небоскребов и парижских, насаженных один на другой, домов, я любовался московскими переулками, из которых иные целиком состояли из просторных особнячков, тихих и уютных. Я высказал это Яковлеву, он ответил:

— Да, может быть так было раньше. Но теперь эти тихие особнячки укомплектованы до невозможности, а так как комнат много, кухня же одна, то эта кухня и является часто местом пересечения интересов всех семейств. И можно себе вообразить тот ад, который творится в кухне, в момент, когда восемнадцать семейств, населяющих этот тихий особнячок, готовят на восемнадцати примусах восемнадцать обедов.

...Когда мы с Пташкой остались одни, она рассказала мне интересные вещи, которые происходили сегодня вечером на дамской половине в то время, когда я сидел на мужской. Оказывается, дочка Валентины Яковлевны яростная комсомолка, нахваталась коммунистических лозунгов и создает своей матери настоящий ад, не давая ей открыть рта и обрывая всякую ее фразу словами: "ну уж эти твои буржуазные теории". Своими грубыми рассуждениями она испортила Пташке весь вечер, хотя Пташка из осторожности и старалась поменьше ввязываться в разговор такого типа.

...Вернувшись в Метрополь, мы с Пташкой возмущались и мысленно желали одутловатой племяннице скорее сбежать с каким-нибудь комсомольцем и тем очистить атмосферу.

29 января, суббота.

Завтракали с Сережей Серебряковым в Большой Московской. Мне хотелось спросить его про обстоятельства, сопутствовавшие аресту Шурика, дабы лучше ориентироваться в моих попытках вытащить его из тюрьмы. Впрочем, много нового я не узнал. Сережа Серебряков подтвердил, что Шурик ни в каких политических делах не повинен, а влил за компанию и отчасти от того, что при допросе не хотел назвать фамилии людей, которых это упоминание могло бы подвести. Удивительный человек этот Сережа Серебряков. Когда-то давно он был "красным" студентом и вечно бил тревогу по поводу предстоящих беспорядков, хотя в то время было еще далеко до революции 1905 года. Теперь ему 50 лет, но его алармистские приемы нисколько не изменились, и сидя в Большой Московской он с таким же конспиративным видом спрашивал, правда ли, что у англичан уже готов план сбросить с аэропланов на Москву столько снарядов с удушливыми газами, чтобы одним ударом задушить весь город, ибо англичане якобы решили пожертвовать даже двухмиллионным населением, лишь бы отравить Кремль. В конце концов мы были рады, когда этот завтрак кончился, потому что хотя он и говорил о пустяках, но с таким видом и с таким нашептыванием, что казалось будто мы впрямь принимали участие в адском замысле англичан.

30 января, воскресенье.

...Держинская, очень милая дама, рассказывает про колоссальную посещаемость московских театров, несмотря на дороговизну билетов; люди недоедают, но ходят в театр. Затем Яворский¹¹ рассказывает, что в прошлом мае, когда он вернулся из Парижа в Москву, то в сферах уже в подробностях знали о разговорах, которые Яворский имел со мною, ибо во время нашего завтрака — случайно или нарочно — сидел нужный человек, который все это записал и сообщил. Отсюда разговор естественно переходит на слежку в Москве, особенно за теми, кто является из-за границы. Яворский описывает характер того шума, который слышен в телефоне, когда к нему прицепляется официальный подслушиватель. Действительно, на такого рода шум мы уже обратили внимание. Хотя мы ничего предосудитель-

ного в телефон не говорили, но все же этот шум надо иметь в виду. Из всех сегодняшних разговоров неожиданный вывод: москвичи ругают теперешнюю Москву, но болезненно ждут, чтобы ее похвалили.

31 января, понедельник.

...Анонимное письмо, подписанное "русская женщина". Советует, когда улягутся фимиамы, с восхвалением зигзагов и уколов, и я смогу сосредоточиться в тишине, то, чтобы я усвоил, что сфера моя не сочинительство, а исполнение Бетховена, с его страстью и титанической мощью, и что тогда мир падет ниц передо мной. Очень надо! Спасибо, русская женщина.

5 февраля, суббота.

...Кучерявый явился еще более толстым, чем я его знал по Америке, и я ему вручил автоматическое перо и карандаш, которые по его просьбе привез из-за границы. Бодрое настроение его первых писем по приезде в советскую Россию, когда он принял пост директора клееваренного завода в Москве, ныне сильно упало. Работать невозможно. Все лентяи, чиновники и формалисты, нужна частная инициатива, иначе дело совсем замерзает, уже не говоря о том, что ладить с коммунистами, которые все время контролируют и шпионят — чистое мучение. Переходя на английский язык и понизя голос, он прибавил:

— Здесь каждый шестой человек — шпион.

Вечером за нами зашел Цуккер и мы отправились в гости к Каменево́й, сестре Троцкого и жене советского посла в Риме. Сама она — глава культурной связи с заграницей, то есть должна показывать лицом культурный товар советской России и, с другой стороны, вводить в Россию из-за границы то, что для нее полезно с советской точки зрения.

Так как Каменева имеет жительство в Кремле, то нам были выданы особые пропуски, и это путешествие в Кремль само по себе не было лишено интереса. Мы отправились пешком и, подходя к Кремлевским воротам, предъявили наши пропуска в окошечко. После выполнения каких-то формальностей — в точности не знаю каких, так как выполнял их Цуккер, а я тем временем переминался с ноги на ногу от страшного мороза, — мы прошли через ворота, где стояли солдаты с ружьями и переливавшимися на морозе штыками. Странное ощущение было, когда мы вступили в красный Кремль — соединение старины с самой революционной новизной, собирающейся отсюда перестроить весь мир.

Между тем, Цуккер шагал рядом и, захлебываясь, объяснял:

— Вот прошел такой-то, это министр того-то, а вот здесь Ленин сделал то-то, а вот тут живет Демьян Бедный.

— Скажите пожалуйста, как важно, в самом Кремле, — сказал я.

— Он старый коммунист, — объяснил Цуккер, — но жить в Кремле вовсе не так удобно, ибо если он хочет пригласить кого-нибудь к себе, то постоянная возня с пропусками.

После ряда длинных коридоров одного из огромных кремлевских зданий, несколько министерского типа, мы остановились у двери Каменевой. Нас ввели в переднюю, довольно нелепую, а затем в огромную и очень комфортабельную комнату с великолепными креслами и диванами, и множеством шкапов и полок с книгами. Ввели нас с легкой торжественностью, чувствовалось, что мы в высоком месте и почтение носилось в воздухе.

Сама Ольга Давыдовна показала мне живой и приятной дамой, несколько американского типа, в чем однако Пташка со мной не согласилась, не находя ее ни приятной, ни американской. Тут же был Карахан¹², затем явился Литвинов с женой. Оба они очень любят музыку и кое-что понимают в ней. Карахан объявил мне, например, что у него в Китае было Дуо-Арт¹³ и среди роликов много сделанных мной, и что по вечерам, отдыхая от своей работы, он любил слушать мои сочинения. Страшно трогательно: Карахан, насаждая китайскую революцию, черпал свой отдых и новые силы под звуки моих сочинений.

Цуккер осторожно подполз ко мне и дал понять, что хорошо бы было, чтобы я немного поиграл, что я и сделал, даже не без удовольствия, так как всем присутствующим по-видимому очень нравилась моя музыка. Я им играл главным образом мелкие вещи, в промежутках между которыми шли беседы с Литвиновым и Караханом. Они расспрашивали про границу и про мои впечатления от СССР. А я им ругал то, что плохо за границей, и хвалил то, что хорошо в СССР, не выходя, разумеется, из рамок искусства. И таким образом выходило, что мы в сущности во всем согласны.

После этого хозяйка пригласила пройти в столовую ужинать. Стол был сервирован ни богато, ни бедно, но, во всяком случае, беспорядочно. На салфетках стояли инициалы А.Ш. Подавала горничная, но ее звали по имени и отчеству.

Кроме Литвинова и Карахана, за столом еще несколько человек, мало замечательных, в том числе сын Каменевой, со-

всем молодой человек, и его жена, еще моложе, с виду девочка лет пятнадцати, но на самом деле несколько старше. Она ученица балетной школы и очень интересуется моей музыкой, но к сожалению вернулась домой сегодня слишком поздно и не слышала моей игры.

После ужина Каменева просит меня поиграть для этой девицы. Тут я решаю, что надо держать тон и отвечаю, что сейчас уже поздно и что кроме того я устал. У девицы капризно вытягивается лицо. Я назидательно говорю:

— Надо возвращаться домой вовремя.

Но оказывается она не могла вернуться вовремя, так как должна была где-то танцевать. Я говорю:

— В таком случае вы меня услышите на одном из ближайших концертов.

Но оказывается, что по вечерам она вообще занята, и Каменева все-таки просит меня сыграть ей. Я отвечаю несколько нетерпеливо:

— Я тоже занят завтра утром на репетиции и мне нужно иметь свежую голову и крепкие пальцы, — прибавляю я дочке: — если вам очень хочется меня слышать, то вы все равно сможете устроиться, а если не сможете, то значит вам вовсе не так хочется меня слышать. В таком случае не стоит, чтобы я вам играл и сейчас.

После этого начинаю прощаться. Кажется разговаривать с принцессами крови не полагается так, и мое упорство произвело на Каменеву неприятное впечатление, но я рад, что поставил девочку на место.

Однако уйти сразу не приходится: оказывается, что уже первый час ночи, наш же пропуск годен только на тот день, на который он выдан, то есть до 12 часов, а без пропуска обратно не выпустят, поэтому надо звонить в комендатуру о новом пропуске. Литвинов любезно предлагает подвезти в своем автомобиле, так как он живет вне Кремля.

— Со мной у вас пропуска не спросят, — прибавляет он. Словом, еще пьем чай, и я нетерпеливо жду, когда приедет за Литвиновым автомобиль, потому что мне хочется спать, а завтра рано репетиция. Наконец докладывают, что автомобиль подан, мы прощаемся с Каменевой и идем по бесконечным коридорам. Мадам Литвинова почему-то несет свои ботики в руках, кажется потому что они грязные и она не хочет пачкать коридора. В просторный лимузин Литвинова нагружается он с женой, я с Пташкой, Карахан и Цуккер.

— Как я люблю этот тихий Кремль, — мечтательно говорит жена Литвинова.

Зная, какую бурную деятельность проявляет этот Кремль, мне курьезно слушать это наивное восклицание.

... Дома мы еще делимся впечатлениями. Пташка справляется, кто этот любезный черный господин, который так тряс ее руку. Я объясняю, что это тот самый Карахан, который возмутил Китай. Пташка изумлена и передает забавный рассказ жены Литвинова.

— Вы знаете, — говорила ей последняя, — в Париже так трудно с шоферами: ведь там все белые шоферы.

Пташка только что собиралась ей объяснить, что в Париже черных почти не бывает и что только в Нью Йорке разве есть негры среди шоферов, но жена Литвинова пояснила свою мысль:

— Ну конечно, каждый третий шофер — врангелевский офицер, и того гляди, когда дашь адрес советского посольства, откажется везти, да еще надерзит.

6 февраля, воскресенье.

...Рабинович¹⁴ с увлечением рассказывал о своем проекте выкрасить Москву:

— Москва имеет отвратительный вид, — говорил он. — Масса домов облупившихся, давно нечиненных, и не скоро она застроится и примет надлежащий вид. А между тем, если все ее выкрасить согласно известному плану, то какой может получиться эффектный город. Вообразите, целая синяя улица, а другая пересекает ее в две краски...

Мне этот проект очень понравился, но конечно это только проект.

7 февраля, понедельник.

...В артистической Яворский с бурными встречами, затем Мясковский, мадам Литвинова. Тут же Надя Раевская, и странно было видеть обеих рядом: одну — англичанку, несущую ботики в руках и какими-то пружинами судьбы вынесенную на положение жены министра; другую — аристократку, с мужем в тюрьме и не знающую, как вытянуть его оттуда. Однако знакомить их было бы неосторожно и пришлось разговаривать то с одной, то с другой. Затем меня отозвали в сторону и познакомили с Сосновским, важным коммунистом, статьи которого пользуются большим влиянием и о котором Цуккер говорит с почтением в голосе. Сосновский спрашивает меня, прочел ли я революционную поэму, которую прислали мне комсомольцы.

Я всячески выпутываюсь, потому что действительно какую-то книжку мне прислали на адрес Персимфанса¹⁵, но я так ее в правлении Персимфанса и оставил. Сосновский необыкновенно скучным тоном бубнит мне о достоинствах комсомольской книжки и о желательности, чтобы я обратил на нее внимание. Я же в это время думаю:

— Неужели так томительно скучны вожаки коммунизма и книги, ими рекомендуемые.

8 февраля, вторник.

...В Метрополь должна была явиться целая цепь визитеров, затем надо было собирать чемоданы и ехать в Питер.

Визитеры были расположены у меня в порядке, как у зубного врача, по полчаса на каждого. Но как и полагается русским визитерам, все они опоздали, сбились в кучу и потом были недовольны, что один мешал другому.

Первым номером явилась Чернецкая, та самая, которая своим балетом должна была перевернуть весь мир. Она появлялась в артистической на нескольких моих концертах, каждый раз добиваясь свидания, дабы рассказать мне свои проекты. Я в них ни на волос не верю, да и отзывы окружающих были о ней весьма посредственны, но Чернецкая была женщина настойчивая, демоническая, к тому же бывшая любовница Луначарского и сверх того, отложившая на день свой отъезд, лишь бы прочесть мне свой манускрипт, — словом, пришлось ее принять. Содержание балета было достаточно сложно и изложено весьма подробно, так что на прочтение его требовалось минимум 40 минут. Это был сладкий советский сюжет, с благородными рабочими, развратными банкирами, фабриками, люксовыми апартаментами буржуев и пр., т.е. всем тем, от чего теперь уже тошнит даже самых заядлых коммунистов.

...Между тем Пташка все время укладывает вещи, торопимся и суетимся. Отельный посыльный представляет счет за утюжку брюк — 2 рубля. Я возмущаюсь и говорю, что это эксплуатация. Он говорит:

— Такой тариф.

Я:

— Таких цен не существует ни в одной стране, даже в Америке, и такой тариф не может существовать. Для того, чтобы погладить брюки требуется 10 минут — значит портной зарабатывает 12 рублей в час. Тогда почему вся Москва не гладит брюки.

В дело вмешивается Цуккер, но посыльный ему дерзит.

Цуккер чувствует себя до мозга костей коммунистом, т.е. офицером Л. Гв. Его Величества и заявляет, что подобное его поведение будет сообщено в Профсоюз и ему будет нагоняй. Не знаю, чем это кончается, но я за брюки не плачу и мы в таксомоторе выезжаем на вокзал, причем Цуккер нас провожает.

9 февраля, среда.

...За долгие годы странствования за границей я как-то забыл Петербург, мне стало казаться, что его красота была навязана ему патриотизмом петербуржцев и что по существу сердце России конечно Москва; мне стало казаться, что европейские красоты Петербурга должны меркнуть перед Западом, и что напротив, Евразийские красоты иных московских переулков остаются чем-то единственным. Настроенный таким образом, я сейчас был совершенно ошеломлен величием Петербурга: насколько он наряднее и великодержавнее Москвы! Белый снег и ясная погода способствовали этому впечатлению.

10 февраля, четверг.

...Выбравшись из Эрмитажа, мы отправились с визитом к Глазунову. Еще с консерваторских времен у меня с ним установились какие-то сомнительные отношения, но так как в Ленинграде он все-таки остался крупной фигурой, даже несмотря на то, что музыкальная жизнь идет теперь как-то мимо него, то еще в Париже решил, что по приезде в Ленинград буду приличен и отправлюсь к нему с визитом.

Я не помнил номера его дома; но знал его "в глаза" и без труда нашел его. Но парадный ход был закрыт. Я знал, что парадные были в Ленинграде закрыты еще с самого начала революции, но не думал, что это простиралось и до настоящего времени. Итак, надо было идти с черного. Мы вошли во двор. Двор огромный, с деревьями: купцы Глазуновы строили свой дом широко и просторно. Справившись у дворника, как пройти к Глазунову, мы стали подниматься по довольно скверной и грязной лестнице, пока на одной из дверей не увидели медную табличку, на которой было выгравировано "Глазунов", без имени и отчества.

Позвонили — ничего; еще раз позвонили и еще раз ничего. Постучали, на случай, если звонок не звонит — и опять ничего. Решили, что никого нет дома и начали вытаскивать визитные карточки, чтобы бросить их в ящик для писем. ...На прощание постучали еще раз, посильнее, и услышали за дверью шаги. За-

тем дверь была отперта и мы увидели двух дам, одну молодую, другую постарше, но все же очень молоджавую. Это были мать и дочь, причем мать была интереснее дочери.

...Я объяснил дамам, что пришел с женой засвидетельствовать почтение Александру Константиновичу, а дамы объяснили, что его нет дома и очень радушно стали просить нас войти. Нас провели через кухню, а затем мы попали в залу, которая была мне уже знакома по тем давним временам, когда я приносил Глазунову мою симфонию е-моль, ныне погибшую за исключением анданте, вошедшего в переделке в Четвертую сонату.

Мы просидели минут десять-пятнадцать, причем дамы жаловались на режим, на трудность житья в советском Ленинграде, на постоянную видимую и невидимую слежку, на то, как какая-то дама хотела уехать, но как в последний момент ей кого-то подослали и к чему-то придравшись, отправили не за границу, а под арест и пр. и пр. Мы стали прощаться, дамы радушно проводили нас до самой двери и мы поспешили домой, чтобы хоть чуть-чуть отдохнуть перед спектаклем Апельсинов.

15 февраля, вторник.

...Когда третьего дня мы заседали в купе, то все они, Асафьев, Экскузович¹⁶ и Рапопорт ехали в Москву на важное заседание, относительно театральной политики — совещание, которое должно было по существу решить все последующее направление театральных репертуаров. Состоялось оно вчера, а сегодня за завтраком Асафьев с увлечением рассказывал о происшедшем.

Бой был между двумя лагерями: коммунистическим, желающим из театра сделать прежде всего орудие пропаганды ("коль на рабочие деньги, так чтобы в пользу рабочему классу"), и театральным, желающим, чтобы театр прежде всего был театром, а не политической ареной ("коль на деньги рабочих, то чтобы рабочим было интересно").

Соль в том, что коммунистическую точку зрения защищали разумеется коммунисты, а театральную — некоммунисты, а может и антикоммунисты, а потому последних можно было в любой момент обвинить в контрреволюции и следовательно им надлежало быть очень осторожными и скромными.

...Луначарский же, председательствовавший совещанием, предпочитал молчать: по положению он коммунист, но по вкусам эстет и театрал, а потому ему тоже надо было лавировать. Этим воспользовались присутствовавшие на совещании комму-

нисты и принялись громить театралов, резко и грубо, без всякой любви к театральному делу.

Тут поднялся Мейерхольд -- с одной стороны коммунист и почетный красноармеец, с другой стороны яростный театрал. Он начал следующим образом:

— Товарищи, прежде всего попрошу вас не перебивать меня: я очень волнуюсь, только что выпил валериановых капель и за себя не ручаюсь. Помните, прошлый раз, когда меня перебивали, то что вышло?

(О том, что вышло в прошлый раз, Асафьев не знает, так как он отсутствовал, но по-видимому вышло что-то очень неприятное).

— Вы, товарищи коммунисты, по-видимому плохо осведомлены о том, чего хотят товарищи рабочие.

(Мейерхольд роется в карманах и вытаскивает оттуда письмо.)

— А вот обращение ко мне рабочих такого-то завода, у которых мы выступали.

(И он читает просьбу давать вещи драматические или комические, но ни коим образом не назидательно-политические).

— Что же, товарищи коммунисты, вы хотите такие пьесы, чтобы рабочие перестали ходить к нам в театр? А если театры будут пустые, то коммунистическому правительству придется увеличить субсидии на поддержку их. А чьи деньги будете на это вы тратить? Рабоче-крестьянские, то есть заставите платить рабочих за пустой театр, вместо того, чтобы они платили за наполненный, то есть доставляющий им удовольствие.

К концу своей речи Мейерхольд так раскричался, что получился скандал и объявили перерыв. Луначарский говорил, что он вообще мечтает уйти из наркомпроса, но украдкой хихикал себе в усы. Чем дело кончилось, Асафьев не знает, так как он уехал, но во всяком случае, он говорит, что только Мейерхольд мог произнести такую сногшибательную речь, ибо бояться ему нечего, так как посадить почетного красноармейца в тюрьму неудобно, а выслать за границу — так Мейерхольд отлично и за границей устроится и потеряет лишь Москва.

17 февраля, четверг.

Когда я выхожу на улицу, то внизу огромный хвост на билеты. Меня узнают и аплодируют. Вот уж долготерпение! Стоят в хвосте два часа, да еще аплодируют.

Возвращаюсь в Европейскую и с сожалением вижу, что рояля еще нет, а между тем еще прошлый приезд я уговорился

с Хаисом, что мне пришлют его из Филармонии сегодня утром. Нетерпеливо звоню в Филармонию, там говорят, что рояль почему-то задержался, но его вот-вот пришлют.

...В 4 часа наконец сообщают, что рояль привезли в гостиницу. Я открываю двери, убираю мебель и жду, но проходит полчаса и рояль не появляется. Спускаюсь в вестибюль и вижу, что огромный рояль действительно стоит, но вокруг него никого нет. Оказывается, что в то время, как его втаскивали в отель, убежали лошади, на которых его перевозили, и возчики их ловят; почему целые полчаса — неизвестно. Я опять звоню в Филармонию, и наконец половина шестого вечера рояль вваливается в мой номер на девяти коридорных, похожий на сороконожку.

18 февраля, пятница.

...Оказывается, когда умер Брюсов, у его жены стали просить его неопубликованные рукописи. Последних не оказалось или было слишком мало, но жена предложила его дневник, который он вел последнее время на древнегреческом языке, блистая своей ученостью. Дневнику страшно обрадовались и немедленно засели за его перевод, но тут выяснилось, что почтенный коммунист в дневнике на чем свет стоит ругает советский строй. Так и неизвестно, что с дневником сделалось.

19 февраля, суббота.

...Днем упражняюсь и сплю. За стеной поют с завыванием цыганские романсы. Революция вывела форсящую аристократию и кутящее купечество, но спасовала перед цыганщиной!

28 февраля, понедельник.

...Вечером в Колонном зале была объявлена лекция Троцкого. Нам очень хотелось его послушать — Троцкий первоклассный оратор. Однако Цуккер как-то мялся и по-видимому сам не хотел хлопотать о билетах для нас, ввиду того, что Троцкий ссорится с правительством. В конце концов Цуккер позвонил кому-то из своих знакомых, который должен был в свою очередь достать через кого-то. Но там ответили, что ни одного свободного места на лекцию нет. Так мы и не попали и вместо этого отправились на концерт Персимфанса, посвященный памяти Бетховена, в котором Цейтлин играл Бетховенский скрипичный концерт. Конечно это было не очень весело и Цейтлин не

первоклассный скрипач, но ввиду его забот о нас не пойти было нельзя.

По дороге из ресторана на концерт я стал осторожно прижимать Цуккера на предмет освобождения Шурика, говоря ему, что в конце концов что-то неладно, ибо за несколько недель он не может сдвинуть это дело с места. По-видимому так и было: Цуккер по существу трус или же просто он не желает влутываться в "контрреволюционное дело". Это отчасти выяснилось из его дальнейших и запутанных ответов. Я просил его высказаться яснее, ибо если ему неприятно браться за это дело, то я попробую, пока еще есть время, другие ходы. Например, мне говорили о политическом красном кресте, оказывающем помощь "политически-больным", или же я могу поговорить об этом с Мейерхольдом — "почетным красноармейцем", у которого вероятно не мало поклонников в коммунистических верхах. И о том, и о другом ходе Цуккер отозвался с некоторым раздражением, находя политический красный крест учреждением беспомощным, а Мейерхольда — человеком, не пользующимся достаточно хорошей коммунистической репутацией, чтобы влиять на освобождение политически неблагонадежных. Словом, по Цуккеру выходило, что куда не кинь, все клин.

...Когда мы после концерта ехали домой мимо Колонного зала, то вокруг здания чернела довольно большая толпа народа. Чувствовалось, что вокруг лекции Троцкого атмосфера заряжена электричеством, и мы обрадовались, что не попали на нее: еще влипнешь в какую-нибудь политическую историю. Это совершенно излишне. Шурика, например, и без того трудно выпутывать.

1 марта, вторник.

Держановский сказал, что во главе политического красного креста стоит Пешкова, бывшая жена Горького. Он с ней знаком и осторожно говорил о моем деле. Вообще же с ней можно говорить совершенно откровенно, потому что она для того и существует, чтобы спасать людей, влипших в политическом отношении. В царское время ее организация политического красного креста уже существовала, но тогда нелегально и, разумеется, в обратном направлении, то есть в то время она спасала социалистов и коммунистов. Благодаря этим заслугам, ей удалось добиться у советского правительства легального положения. Большевики, скрепя сердце, ее терпят и ее ходатайства исполняют по возможности реже, впрочем, кое-какой актив у нее имеется.

...Пешкова приняла нас очень любезно и несколько туманно припомнила фамилию Раевского, сказав, что кажется по этому делу они уже хлопотали. Для справки она позвала из другой комнаты своего помощника, еврея, говорившего на ужасающем русском языке, и тот, справившись в своей записи, сообщил, что в числе других они хлопотали за Раевского и что благодаря их усилий Раевскому был сокращен срок на треть. Это верно, но я не знал, что это благодаря политическому красному кресту. С чрезвычайной простотой она сказала мне следующее:

— Видите ли, если бы вы сами поехали в Г.П.У. хлопотать за Раевского, то может быть они и исполнили вашу первую просьбу, но исполнение этой просьбы они вам бы запомнили и при случае использовали бы. Поэтому я не советую вам обращаться лично. Но я сама как раз еду в Г.П.У. по другим делам и буду говорить с одним из ближайших сотрудников Менжинского (кажется она называла тов. Ягоду). Я постараюсь тогда навести разговор на вас и так как он естественно поставит банальный вопрос: "ну что, доволен ли Прокофьев своим приездом в Москву", то я отвечу: "очень доволен, хотя его и огорчает пребывание его родственника в тюрьме". Таким образом мне быть может удастся обрести какие-нибудь облегчения Раевскому без просьбы с вашей стороны.

Я поблагодарил за блестящий план, а Пешкова обещала о результатах позвонить завтра Держановскому и сообщить ему в инсказательной форме, чтобы опять-таки, даже телефонно, не впутывать меня в эту историю. Эта деликатность Пешковой доказывает все-таки насколько осторожно приходится орудовать с подобными вопросами.

3 марта, четверг.

...Перед уходом Мейерхольда мне удалось непринужденно направить разговор на Шурика. Мейерхольд выразил живейшее участие и воскликнул:

— Подождите, у меня есть приятели в Г.П.У. Я им шепну словечко, но только вы дайте мне детальные данные о том, когда и за что он был приговорен.

...Литвиновы занимают шикарный особняк, принадлежавший раньше Харитоненкам, купцам, людям чрезвычайно богатым. Если я не ошибаюсь, то как раз в этом особняке я завтракал в мае 1918 года, за несколько дней перед тем, как покинуть Россию. Пригласил меня туда князь Горчаков, родственник Харитоненков и живший у них. Пташка нашла особняк

огромным и красивым, но не жилым и содержащимся в большом беспорядке.

Ева Вальтеровна угощала ее чаем. Пришли ее дети, с виду довольно грязные и распушенные, хотя и довольно миленькие. Глядя на их дурные манеры, Литвинова выражала желание в будущем воспитывать их в Англии. Забавно, что эти мечты совпадают с ядовитыми нотами, которые в это время ее супруг посылал в Англию.

4 марта, пятница.

...Самойленки¹⁷ очень просили нас посмотреть, что стало с их квартирой, и сегодня мы отправились на рекогносцировку. Квартира конечно оказалась заселенной массой семейств, но главными комнатами все еще владела бывшая прислуга Самойленков. Она сначала ничего не хотела слушать, но потом впустила нас, была любезна и показала целую кучу фотографий Бориса Николаевича, ибо он просил, если можно, привести что-нибудь из них. Был и портрет его маслянными красками с баками и в гвардейском мундире, а потому мы его и не взяли, боясь нарваться на неприятность при таможенном осмотре.

...Кучерявый живет в довольно пустынном месте, в районе Тверской Ямской, но в новом доме, заселенном главным образом рабочими. У него маленькая, но чистенькая и притом отдельная (что особенно редко для теперешней Москвы) квартира. По сравнению с первыми письмами, которые он мне посылал по возвращении в СССР, тон его заметно понизился. Тогда он писал, что все должны возвращаться в СССР, независимо от своих симпатий, с единой целью приложения своих рук для восстановления хозяйства. Теперь он жаловался, что невозможно работать: всё и все мешают, а уж такая казенная волокита, что сил нету. Все грандиозные проекты — на бумаге. Надо было оставаться в Америке, но затащила его жена, которая тосковала по Москве, а теперь сама рвется вон.

5 марта, суббота.

...В Жизни Искусства против меня выпад: почему я наконец не открою своего лица и не скажу прямо о моем истинном отношении к советской власти. По-видимому журналу очень не хотелось помещать этого выпада, но уклониться от помещения тоже было нельзя. Поэтому он оказался помещенным между чрезвычайно хвалебной статьей обо мне и статьей о Метнере, в которой сводится на сравнение со мной в мою пользу. Я сказал Мейерхольду:

— Послушайте, я должен выступить с ответным письмом на этот выпад!

Мейерхольд поморщился:

— Не стоит впутываться в эти мелочи. Сохраняйте олимпийское молчание. Я издаю мой театральный журнальчик специально для того, чтобы переругиваться с теми, кто нападает на меня или на артистов, близких мне по мысли. В этом журнальчике я сумею им ответить за вас.

Так я и не реагировал на этот выпад. Любопытнее всего, что эмигрантская пресса, не упомянув ни об одной из множества хвалебных статей, посвященных мне в СССР, перепечатала только этот выпад. Мол, Прокофьев поехал в советскую Россию — и вот вам результаты.

7 марта, понедельник.

...Вернувшись домой хотели взять ванну, но у нее частями соскочила эмаль и она выглядела какой-то прокаженной. Долго пытались добиться кого-нибудь из отельной прислуги, но это было не так просто, так как сегодня были какие-то выборы и прислуга вотировала. В конце концов нам объяснили, что ванна такая рябая не от грязи, а от чистоты, ибо после каждого постояльца ее моют кислотой, съевшей эмаль. Все же мы отложили удовольствие выкупаться до Киева.

16 февраля, среда. /Киев/

...Вернувшись домой, мы собрали вещи и отправились на вокзал. Перед самым отъездом произошел забавный инцидент. Оказывается, какой-то тип уже второй день внизу ресторана ел, пил и заказывал дорогие блюда, говоря, что он приехал с Прокофьевым чуть ли не в качестве его секретаря. Параллельно с этим он красно рассказывал про за границу и про разные случаи из жизни Прокофьева, а хозяин и прислуга слушали и записывали съеденное и выпитое на мой счет. Когда в момент моего отъезда выяснилось, что означенный тип никакого ко мне отношения не имеет, в отеле поднялась тревога. Метр д'отель кричал:

— Подождите, я его найду! он от меня не уйдет!

20 марта, воскресенье.

Утром заходила к нам Шура Сержинская, моя троюродная племянница, столь мало понравившаяся Пташке на первый взгляд. Но сегодня она предстала в лучшем свете. У нее сын комсомолец. Как бы отвечая на наше удивление, она сказала:

— Ну, что ж, когда раньше в гимназиях пичкали катехизисом, то это не значит, что дети становились от этого религиозными. Так и теперь: когда их пичкают безбожием, то это не значит, что они становятся антирелигиозными. Политграмота в тепершней школе — такая же скучная зубрежка, как катехизис в царских гимназиях. Зато, будучи комсомольцем, мой сын имеет шансы на лучшую жизненную дорогу.

...На концерте был Рыков, глава правительства. Он прослушал только полпрограммы. Когда он уходил через артистическую, Цуккер познакомил нас. Рыков — небольшого роста человек, с бородкой интеллигентского типа и гнилыми зубами. Он спросил меня:

— Как же вам у нас понравилось?

Я ответил:

— Мой приезд сюда — одно из самых сильных впечатлений моей жизни.

В сущности, я совсем не похвалил Большевизию, и в то же время выглядело, что я высказался в предельных похвальных выражениях. Словом, Рыков улыбнулся и с довольным видом заспешил дальше.

22 марта, вторник.

...Зазвонил телефонный звонок — из Коминтерна. Собственно говоря, я так и не понял от кого это, но звонившее мне лицо назвалось каким-то длинным титулом, в который входил и Коминтерн. А раз Коминтерн, то надо было быть осторожным.

Дело касалось того, чтобы я выступил сегодня вечером в концерте, спешно организуемом в честь взятия Шанхая. Выступать мне смертельно не хотелось, но отказываться надо было осторожно. Я сразу же решил перейти в контратаку и ответил:

— Но позвольте, я желал бы знать, кто у вас организует этот вечер? Разве можно приглашать артиста чуть ли не за несколько минут до концерта? Что же это будет за вечер? Я совершенно не могу по такому важному случаю играть с бухты-барухты и как попало. Нет, уж извольте, и передайте вашим организаторам, чтобы они на следующий раз организовывали вечер на более серьезных началах — и тогда я буду к вашим услугам.

Последнее было довольно безопасно, т.к. завтра мы уезжаем в Париж.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Так звал Прокофьев свою жену, Лину Ивановну Прокофьеву (1897-1989).
2. Борис Владимирович Асафьев (1884-1949), известный музыковед и композитор.
3. Лев Моисеевич Цейтлин (1881-1952), скрипач.
4. Был тогда зам. Наркома Иностранных Дел СССР.
5. Временный паспорт, выдававшийся в то время на Западе лицам без гражданства.
6. Композитор Николай Яковлевич Мясковский (1881-1950) был ближайшим другом Прокофьева.
7. Петр Петрович Сувчинский (1892-1985), музыковед, близкий друг Прокофьева. Ему была посвящена Пятая соната.
8. Александр Черепнин (1899-1977), композитор и пианист.
9. Александр Александрович Раевский (Шурик) (1887-1942), двоюродный брат Прокофьева, потомок героя войны 1812 года. Был арестован как бывший ученик Санкт-Петербургского лицея. Освобожден лишь в 1931 г., т.е. по окончании своего срока. В 1941 году он был вновь арестован и умер в следующем году. Надя – Надежда Богдановна Раевская (урожд. Мейендорф), его жена (1885-1950).
10. Александр Борисович Гольденвейзер (1874-1961), пианист и профессор консерватории.
11. Болеслав Леопольдович Яворский (1877-1942), музыкальный теоретик, разработавший свою собственную теорию ладов. В 1920-1930 г.г. был председателем музыкальной секции и членом Ученого Совета Наркомпроса.
12. Карахан был арестован и расстрелян в 1937 году.
13. Фортепиано со специальным приспособлением, воспроизводящим музыкальную запись на перфорированных бумажных роликах.
14. Исаак Моисеевич Рабинович (1894-1961), известный театральный художник.
15. Персимфанс (Первый Симфонический Ансамбль) – оркестр без дирижера, существовавший в 1922-1932 г.г.
16. Иван Васильевич Экскузович (1883-1942), театральный деятель, был в те годы управляющим академическими театрами Ленинграда и Москвы.
17. Б. Н. Самойленко был близким другом Прокофьевых во Франции.

В ближайшее время в издательстве "Синтаксис" выходит книга Сергея Прокофьева "Дневник-27". В предисловии поэт и художник Олег Прокофьев представляет ее так: "Машинописная копия ДНЕВНИКА-27 попала в мои руки после смерти моей матери, в январе 1989 года. Это редчайший и уникальный документ, в котором мой отец описывает свой визит в Советский Союз в 1927 году, с 19 января по 24 марта, в первый раз с тех пор, как покинул его в 1918 году."

"Дневник" очень подробный: Москва, Ленинград, Киев, концерты, репетиции, встречи, характеристики... Многие наблюдения Сергея Прокофьева звучат настолько актуально, что мы с печалью и удовольствием публикуем отрывки из него в нашем журнале.

Олег Давыдов

”ВОЙНА И МИР”

...необходимо отказаться от сознаваемой свободы и признать не ощущаемую нами зависимость.

Этими словами завершается наша отечественная ”Илиада”. Такая концовка наводит на мысль, что и весь роман понадобился только затем, чтобы стать пьедесталом для утверждения императива зависимости. И хотя сам Толстой вряд ли хотел призвать читателей к рабству, все-таки вывод налицо: необходимо отказаться... Но этот вывод не следует с логической необходимостью из предшествующих ему глубокомысленных рассуждений автора. Этот вывод впрямую не следует и из человеческих убеждений Льва Николаича. Откуда же он? Скорей всего, вывод этот — злоеший каприз российской эпической музыки, от которой наш русский Гомер был несомненно зависим. Потщимся же взглядом свободным и трезвым посмотреть на некоторые плоды этой зависимости (вдохновения).

1. Вариации на тему BESUCH

Париж, 2 апреля 1790 г. Я в Париже! Эта мысль производит в душе моей какое-то особенное, быстрое, неизъяснимое приятное движение... Я в Париже! — говорю сам себе и бегу из улицы в улицу... Вдруг останавливаюсь, на все смотрю с отмен-

ным любопытством: на дома, на кареты, на людей. Пусть любопытство мое насыщается, а после будет время рассуждать, описывать, хвалить, критиковать. Теперь замечу одно то, что кажется мне главной чертой в характере Парижа: отменную живость народных движений, удивительную скорость в словах и делах. Парижский житель хочет всегда отгадывать — вы еще не кончили вопроса, а он уже сказал ответ свой, поклонился и ушел.

Москва, декабрь 1976. Пожалуй, французы действительно считают себя самыми проникательными отгадчиками. Я, впрочем, никогда не был во Франции, но был знаком с одной француженкой. Ее звали Доминик. Она не показалась мне особенно красивой, но она была остроумна. Точней, остроумны, видимо, были те, кто прислал ее сюда. Сама-то она была только голубкой, принесшей нам весть: микрофильм с какой-то троцкистской брошюрой. Послание это было свернуто в маленькую трубочку и запаяно в непромокаемый материал — так что нетрудно догадаться, в каком именно потаенном месте пересекло оно границу. Доминик несомненно чувствовала себя богородицей этого троцкистского логоса. Я же чувствовал себя самым настоящим Иродом, когда среди грязи какой-то свалки, зажигая гаснущие на ветру спички, уничтожил злосчастную пленку, ради которой бедная девушка натерпелась, наверно, немало страха на таможене.

Москва, май 1987. Собственно говоря, Доминик приехала не ко мне, а к одному моему тогдашнему приятелю. Он, между прочим, уже тогда был человек православный и славянофил. Правда, было время, он мне говорил: православие — это только прикрытие, а нам важно действовать. То есть, он не был еще вполне славянофилом, а был слегка новым левым. В 68-м году он был ушиблен докатившейся до нас из Парижа волной. Как следовало из газет — разбушевдалась мелкобуржуазная стихия. И мой приятель стилизовался под эту стихию. Этот комсомолец носил тертые джинсы, длинные патлы, сандалии на босу ногу и очки в железной оправе. Разговоры вел о хиппианстве, контркультуре и о свободе. Но постепенно стал понимать, что свобода может быть только внутренней. Сделав шаг от Сартра к Бердяеву, он стремительно славянофилел. Укрепившись в "русской идее", он решил сделать себе имя на Западе, чтобы здесь его не могли пальцем тронуть. Но одно-

временно упражнялся в аскезе, готовясь в тюрьму. И он не ошибся — его посадили. Во время чтения приговора он разбил очки и попытался покончить с собой путем вскрытия вены осколком старого мировоззрения. Это было артистичное, но заведомо безнадежное покушение. Недавно его отпустили в связи с перестройкой и гласностью.

Ясная Поляна, 14 марта 1861. Ситуация оттепели в нашей стране периодична. Это у нас такая календарная мифология об умирающем и воскресающем боге. Когда в 1856 г. умер император Николай I, получился катарсис. Граф Лев Николаевич Толстой в наброске своем "Декабристы" сообщает, что в это время была перестройка и все россияне как один человек находились в неопisanном восторге. Состояние, два раза повторившееся для России в XIX столетии: в первый раз, когда в 12-м году мы отшлепали Наполеона I, и во второй раз, когда в 56-м нас отшлепал Наполеон III. Великое незабвенное время возрождения русского народа. И, конечно же, перестройка сопровождалась гласностью: появились журналы под самыми разнообразными знаменами — журналы, развивающие европейские начала на европейской почве, но с русским мирозерцанием, и журналы исключительно на русской почве, развивающие русские начала, однако с европейским мирозерцанием. Вполне очевидно, что речь у Толстого идет о славянофильстве и западничестве, но нелегко различить — где здесь что? Дается трехместное определение — почва, начала, мирозерцание. То есть, если Р — русский, а Е — европейский, то можно соответственно обозначить эти движения как ЕЕР и РЕЕ. Но ведь возможны и РЕЕ и РЕР... и так далее — всего восемь сочетаний. Вот какое разнообразие общественных движений возможно в России, и из них лишь одно чисто русское — РРР.

Ясная Поляна, июль 1868. Лев Николаич хотел написать роман "Декабристы", а получилась у него "Война и мир". Этот последний роман объясняет, как из клубления разных влияний родились две структуры — ЕЕР и РЕЕ. Только дело, конечно, не в западничестве и славянофильстве, а в действительных силах, стоящих за ними и движущих жизнью в России. Дело в двуглавом орле, каковым и является до сих пор русский человек. Причем, одна голова даже толком не знает, что думает другая. Вот почему, когда я начинаю действовать, получается какая-то невообразимая путаница взаимоисключающих движе-

ний. Я собирался описать свои впечатления от Франции, а получается, что пишу о том, как сделан роман "В и М". Он был сделан так, как старая женщина вяжет чулок:

"Готово-готово", — послышался радостный вопль маленькой Наташи. Это были два чулка, которые по одному ей известному секрету парка-праматерь Анна Макаровна сразу вязала на спицах, и которые она всегда торжественно, при детях вынимала один из другого, когда чулок был довязан. Ну, Лев Николаич, раз, два... и на счет три вдруг в эпилоге являются два симметричных семейства: Пьер Безухов женат на Наташе Ростовой, а Николай Ростов — на Марье Болконской. Это и есть два полурусских, но разных устройства — ЕЕР и РРЕ, — которые отныне будут действовать в русской социальной мифологии. Лев Толстой дал имена этим двум родственным фратриям, оформил их, пустил в оборот, написал теогонию.

Петербург, июнь 1805. Вечер в салоне известной Анны Павловны Шерер. Главная тема: убийство герцога Энгийенского врагом рода человеческого — будет война. Разговор идет на том изысканном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши деды (деды графа Толстого). Все очень мило, изящно, благонамеренно, тонко отлажено. Но вдруг в эту равномерную, приличную разговорную машину вклинивается инородное тело — месье Пьер, незаконный сын графа Безухова, только что приехавший из-за границы, где он воспитывался. Он впервые в обществе и сходу начинает его эпатировать идеями, вычитанными им из какой-нибудь "Монитор".

"Казнь герцога Энгийенского, — сказал Пьер, — была государственная необходимость, и я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке. Для общего блага он не смог остановиться перед жизнью одного человека". Мысль Пьера диалектична. С одной стороны, Наполеон велик потому, что он стал выше революции, подавил ее злоупотребления, сохранив все хорошее. А с другой — революция была великое дело, а террор — это крайность. Но не в нем, не в терроре, все значение, а значение в правах человека, в эмансипации от предрассудков, в равенстве граждан. Синтез: все эти идеи Наполеон удержал во всей их силе и только поэтому приобрел власть.

Петербург, 18 брюмера 1805. Пьер, значит, проповедует не просто идеи французской революции, но — идеи бонапарти-

зма. И не только проповедует. В ту же ночь Пьер Безухов с товарищами устраивает небольшую революцию в одном фешенебельном публичном доме. Среди заговорщиков были Анатолий Курагин, гвардейский офицер Долохов, а также медведь, представляющий в данном случае народные массы. Прибежала полиция их унимать. Они поймали квартального, привязали его спина спиной к медведю и пустили медведя в Мойку. Медведь плавает, а квартальный на нем. Вот так понимает юный экстремист Пьер Безухов революцию: связать полицейскую власть с медведем узами братства, и пусть плывут по течению. Только спяну спутав Россию и Францию, можно было экспортировать сюда такую революцию. Это вроде того, как Доминик привезла нам Троцкого. Ну, что поделаешь — узок круг этих революционеров, страшно далеки они от медведя. Эта их революция делалась точно в угаре, они просто куражились, не относились к восстанию как к искусству, и не проникла еще глубоко в их сердца мятежная наука. Она у них вообще не в сердце. И даже не в голове, а где-то на кончике языка. И языка, повторяю, не русского, а французского. Все эти крамольные речи, которые вел Пьер накануне в салоне, были чисто французские речи. И если бы вы попросили его повторить то же самое, только по-русски, он бы, конечно, не смог. Он и много позже, когда будет вступать в масонскую ложу, "равенство" еще молвит по-русски, а уж "братство" — нет, ни в какую. Потому что на русском об абстрактных вещах говорить не привык, а "свобода", "братство" и "равенство" — понятия пока что абстрактные. Лев Толстой как раз и показывает, как эти и некоторые и другие понятия конкретизировались, то есть были переведены на русский язык, переосмыслились в нем и вошли в нашу жизнь.

Москва, 26 августа 1805. Российскую почву у нас представляют Ростовы. На именинах Наташи только и разговоров об ужасах, которые наделал Пьер в Петербурге. И как его с полицией выслали оттуда. Разбойник, а говорили, что так хорошо воспитан и умен. Вот воспитание заграничное куда довело. Наши дети иначе воспитаны... Тут появляется Наташа: черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая. Она была в том милом возрасте, когда девочка уже не ребенок, а ребенок еще не девушка. Несовершеннолетняя муза русского революционного движения. Она смеялась чему-то, толкуя отрывисто про куклу, которую вынула из-под юбочки. "Видите?... Кукла...

Мими... Видите". И Наташа не могла больше говорить. Мальчик Боря, в которого Наташа сейчас влюблена, вдруг начинает пророчествовать. Эту Мими из-под юбки он, мол, знал еще молодой девушкой с не испорченным еще носом. Она в пять лет на его памяти состарилась, и у ней по всему черепу треснула голова. Сказав это, он взглянул на Наташу — какое впечатление он произвел своим гаданием (абсолютно точным, как станет ясно впоследствии)? Наташа отвернулась от него, взглянула на младшего брата, который, зажмурившись, трясся от беззвучного смеха. Забегая вперед: этот Петя Ростов по ходу романа окажется тенью Пьера Безухова. Петей Ростовым Пьер в свое время выкупится из царства мертвых французского плена. С гибелью Пети разомкнется замкнутая на себя система связей семейства Ростовых, откроется валентность в Наташиной душе, к которой и подключится Пьер в процессе сборки структуры нового русского сознания.

Аустерлиц, 20 ноября 1805. Это сражение заставило многих русских людей пересмотреть свое отношение к "главе французов". И Пьер пересматривает свою революционную деятельность. Компания, в которой он бесчинствовал в Петербурге, отнюдь не была однородна. Одно дело — сам Пьер, увлеченный ложно понятыми идеями общественного переустройства, и совсем другое — его дружки. Анатолий Курагин — баловень судьбы и женщин, не утруждающий себя какими бы то ни было рефлексиями. Именно инстинктивная убежденность в том, что ему нельзя жить иначе, чем как он жил, сблизжает Анатоля с Наполеоном в изображении Льва Николаича. Скажем резче: Анатолий — это отдельно взятая черта Наполеона, приобретающая полную автономность — как Нос в повести Гоголя. Анатолий — это ходячая неспособность Наполеона обдумать, как его поступки могут отозваться на других. И еще одна персонифицированная деталь портрета Наполеона в романе — Долохов, известный игрок и бретер. Он хоть и небогатый человек без связей, а умеет поставить себя, заставить себя уважать. Долохов — это то, что впоследствии по-русски стало называться бонапартизмом. Эти двое составляют у нас комплекс Наполеона, а в соединении еще с Пьером получается полная картина духовного влияния Наполеона на русских людей. Пьер в сочетании с Анатодем и Долоховым — двуногая (или дрожащая) тварь, которая "глядит в Наполеоны".

Сокольнический лес, 4 марта 1806. Так вот, наступает момент, когда Пьер Безухов решает избавиться от комплекса Наполеона в себе. Операция удаления иллюзий наполеонизма дана в психоаналитической сцене дуэли. Пистолет Пьера стреляет — Долохов падает. Кажется, все очень просто — какие могут быть после этого страсти? Но это отвращение от дольного, от той похоти, которой он связан с Элен Курагиной (в сущности — хищницей-Францией, первой своею женой), это отречение от пола проходит, увы, не совсем безболезненно. Обращение к горнему свету масонства еще впереди, а пока что отброшенная вредная часть Пьеровой души еще очень и очень опасна. Вот она лежит на снегу — бледная, нахмуренная и дрожащая. В руках у нее пистолет, и она разъярена, эта ехидна. Она жадно кусает холодный снег и сосет его — губы дрожат, глаза блестят усилием и злобой последних собранных сил. Долохов поднял пистолет и стал целиться...

Торжок, 11 марта 1806. "Глупо... глупо! Смерть... ложь... — твердил Пьер. — Я стрелял в Долохова за то, что счел себя оскорбленным. А Людовика Шестнадцатого казнили за то, что его считали преступником, а еще через год убили тех, кто его казнил, тоже за что-то. Что дурно? Что хорошо?"

Самокастрация прямо ведет к перепутью сомнений. Все в нем самом и вокруг него представлялось Пьеру запутанным, бессмысленным и отвратительным. Просто так эту кровоточащую рану оставить нельзя — на месте отрезанной части души надо поставить протез. Пьеру нужен вожатый, и он находит его. На постоялом дворе он нашел благодетеля, который заменит ему утраченный наполеонизм.

"Осмелюсь просить ваше сиятельство потесниться крошечку вот для них", — сказал станционный смотритель, вводя пожилого масона с большим чугунным перстнем (с изображением адамовой головы) на пальце. Пьер снял ноги со стола и перелег на приготовленную для него кровать, изредка поглядывая на вошедшего, который тяжело раздевался. Дальше начнется то, что Пьер назовет любовными похождениями души с ее возлюбленным. То они вместе с масоном лежат на полу и масон ему проповедует, а Пьер, воображая состояние своего внутреннего человека, хочет показать свою чувствительность. А то они вдруг оказываются в спальне, и вот масон прилег на кровать. Пьер, пылая к нему желанием ласкаться, прилег тут

же. Масон соблазняет: "Скажите по правде, какое вы имеете главное пристрастие? Я думаю, что вы уже его узнали". А Пьер, смущаясь, отвечает, что лень...

Петербург, лето 1808. Что сей сон значит? Отчего вдруг такие противоестественные наклонности? Да просто Пьер, почувствовав, что его преобразовательная деятельность на масонской стезе без Наполеона пробуксовывает, — смотался за границу за новыми идеями. И, как видно, шотландские и французские братья его кое-чему научили. Он привез из Европы программу преобразовать мир без посредства отрезанного наполеонизма. Вообще-то в платонической этой программе не так уж и много голубизны, она просто немножко бесполо. Вот как она излагается Пьером в речи, произнесенной перед ложей: "Должно доставить добродетели перевес над пороком, должно стараться, чтобы честный человек обретал еще в сем мире вечную награду за свои добродетели". То есть, вот аж когда Пьером был сформулирован наш перестроечный принцип материального стимулирования. И точно так же, как мы это теперь понимаем, Пьер понимал, что духовному хозрасчету претит бюрократический аппарат: "В сих великих намерениях препятствует нам весьма много нынешние политические учреждения". Что же делать при таком положении вещей? Благоприятствовать ли революциям, ниспровергать ли кварталного силой медведя? Из опыта своей прежней революционной деятельности Пьер заключает: никакая насильственная реформа нимало не исправит зла, пока люди останутся таковыми, как они есть. Надо совершенствовать человеческий фактор. Тогда только орден наш будет иметь власть нечувствительно взять руки покровителям беспорядка и управлять ими так, чтобы они того не примечали. Другими словами, надо таким образом влиять на носителей наполеоновской похоти, чтобы мы, масоны, могли их, как говорится, иметь... (Вот пошли элементы анальной агрессии). Не надо убивать Долохова, а надо его удалить и держать на дистанции, чтобы использовать для перестройки. Надо заставить Курагина направлять свою похоть на благо. Надо дрессировать его путем материального стимулирования. Надо эгоистические инстинкты человека заставлять работать для общества. Весь вопрос только в том, как это сделать практически. Чем стимулировать Анатоля? Как обмануть похоть Наполеона, чтобы его разрушительный инстинкт подвести под ярмо?

Москва, осень 1811. Но петербургская масонская ложа не принимает нового мышления Пьера, опередившего свое время на 180 лет. У самого у него нет средств повлиять даже на себя самого — ибо чем же влиять? — наполеонизм-то отрезан. Остается ему только строить воздушные замки, предаваясь бесплодному дурману гомосексуальных видений русского масонства. Мало-помалу он превратился в полного кастрата — московского пьяного доброго барина без всяких крамольных французских желаний: без желания произвести республику в России, без желания быть Наполеоном, без желания быть победителем Наполеона... И такой вот опущенный Пьер московскому обществу очень понравился. Молодые дамы и барышни любили его за то, что он, не ухаживая ни за кем, был со всеми одинаково любезен, особенно после ужина. Он прелестен, он не имеет пола, — говорили про него. Нечистая страсть незаметно влиять на ход событий естественным образом вырождается у Пьера в банальное сводничество.

Петербург, 31 ноября 1809. Вот уж если кто и обжегся на романтическом наполеонизме, так это князь Андрей Болконский, все мечтавший о новом Тулоне. Слава влекла его, но не сама по себе в чистом виде, а — как условие любви к нему многих людей. На этом трансцендентальном понятии славы он и обломался — сперва под Аустерлицем, а потом в эпизоде с Наташей Ростовой. Беда князя Андрея лишь в том, что он подражатель. Он человек еще прошлого (XVIII) века, когда западная культура у нас еще толком не усваивалась, но только переносилась на русскую почву — целиком, со всеми чуждыми нам элементами. Князь Андрей хочет подражать чисто внешним атрибутам Наполеона. Вон он, мой Аркольский мост, — решает он без каких бы то ни было оснований, бросаясь в атаку со знаменем. Но внешнее подражание не приводит к значительному результату, а приводит лишь к краху. "Я жалею этого офицера, который корчит из себя владетельную особу", — вот свежий взгляд постороннего (виконта Мортемара) на это убогое явление, осужденное с неизбежностью отмереть.

Правда, Лев Николаич вначале все упорно пытался приладить к своему роману большой хэппи энд. Он даже хотел "В и М" пустить в свет под благозвучным названием "Все хорошо, что хорошо кончается". Но даже и тут ему не приходит в голову выдать замуж Наташу Ростову за князя Андрея — не вытан-

цовывается это, и, поправившись после бородинского ранения, князь Андрей отправляется восвояси, истекая липкой слюной благородства. Наташа достанется Пьеру Безухову. Почему? Потому что с немцами нам теперь не по пути.

Вена, апрель 1809. Поскольку отец князя Андрея — прусский король, сын должен быть символически связан с младшими немецкими государствами. А конкретнее — с Австрией. Здесь полезно напомнить, что субстратом довольно уродливых русско-австрийских отношений было соперничество на Балканах. Австро-русский союз всегда был союз поневоле, он не был основан на взаимных положительных интересах, но — на взаимном страхе сделать неверный шаг на узенькой горной тропинке. Всякое несогласованное опережающее движение пугало партнера и грозило бессмысленной дракой над пропастью. Надо было следить за собой, чтоб не выпятиться, не сделать лишнего движения, не испугать идущего с собой в одной связке соперника. Вот такую противоестественную связь мы и венчали союзническими обязательствами. И хоть не любили австрийков, без них уже жить не могли. Мы с ними взаимно срослись по необходимости. Князь Андрей — это такой австрийский отросток на русской почве. Он расцветает мифологическим дубом, когда наша австрийская политика активизируется, и впадает в спячку, когда она замирает. Даже на Бородино он приезжает из молдавской армии, то есть, в сущности, значит, с Балкан. Так что не будем верить Льву Николаичу, который говорит, что произвел фамилию князя Андрея от известных Волконских. Это слишком поверхностно. Настоящее (тайное) имя Андрея — Балканский, а отнюдь не Болконский... И тут, кстати, сразу становится ясным то, почему помолвка Наташи с Андреем должна сохраняться в глубокой тайне. Ведь этот секретный сговор соответствует тайному союзу России и Австрии 1809 года. Союзу, который, как отмечает Толстой, был недостаточно искусно скрыт от Наполеона.

Петербург, 4 января 1811. Рекомендую: полковник Адольф Берг, сын темного лифляндского дворянина, как и Андрей Болконский, был сыном прусского короля. Адольф — это такая ипостась князя Андрея, которая актуализирует неиспользованные его возможности — так что мы можем видеть, каков наш любимый герой. Берг, например, женится. Но не на Наташе, а на ее сестре Вере Ростовой. Наблюдая этот брак, мы

понимаем, почему невозможен (по общему мнению) союз Наташи с Болконским. Представим себе новый, чистый, светлый, убранный бюстиками и картинками и новой мебелью (как у Юсуповых) кабинет князя Андрея, в котором он сидит с молодой женой, ожидая гостей. Вот он встал и, обняв Наташу, осторожно, чтобы не измять кружевную пелеринку, за которую (точно такая была на княжне Юсуповой) он дорого заплатил, поцеловал ее (Наташу) в середину губ. "Одно только, что бы у нас не было так скоро детей", — сказал он по бессознательной для себя филиации идей... Нет, это трудно представить себе. Женатый князь Андрей — это нонсенс.

И все же Льва Николаича почему-то ужасно волнует вопрос: как возможен брак между Наташей и Андреем? Чтобы его разрешить, он даже пишет отдельную книгу "Анна Каренина". Решение получается отрицательное: никак невозможен, ибо между Анной и Карениным обязательно должен вклиниться Вронский, который разрушит идиллию. В терминах "Войны и мира" Вронский называется Анатолом Курагиным. Так мы вернулись к нашим французам — безалаберный этот повеса разрушает противоестественную связь между Андреем и Наташей.

Москва, февраль 1812. Наташа Ростова отнюдь не невинная жертва курагинской похоти — она сама его клеит. С первой минуты ей доставляет удовольствие, что Анатолий увлечен ею. Вы посмотрите: она даже повернулась так, чтобы ему был виден ее профиль в самом выгодном, по ее понятиям, положении. Ясно, что это кокетство означает, с одной стороны, демонстрацию высшего качества украинской пшеницы, предложение строевого леса, пеньки, а с другой — безграничные возможности русского рынка для товаров лионских мануфактур. Кроме того, очевидно, что Наташа не может спокойно высидеть под внимательным взглядом Анатолия, чему структурно соответствуют неудобства для нас континентальной блокады. Но почему-то меня такие объяснения не совсем удовлетворяют. Конечно, в начале 1812 года Париж вполне мог считать, что "вся суть в торговых интересах и континентальной системе". Но мы, когда столько воды утекло, можем почувствовать в тех отношениях что-то другое, более интересное, интимное.

Москва, март 1812. Говоря очень много о причинах войны, Лев Николаич дает нам понять, *почему* она все же случилась, только рисуя картину отношений Анатолия с Наташей. В

Наташе вдруг прорезается темная воля к непоправимой ошибке. Это природный наш русский мазохизм. Так случается: кажется, очень приличная женщина, а ходит по грязным притонам. Зачем? Нет, она ходит вовсе не потому, что себя предлагает, а все же, как будто бы и предлагает. В ней что-то как будто бы жаждет опасности — чертик какой-то, кукла под юбкой. Эта чертова кукла надеется, что когда-нибудь, поздно ли, рано, найдется маньяк, который почувствует грешный трепет ее, заразится им и набросится где-нибудь впотьмах закоулка. И вот уже бессознательный трепет надежды перерос границу невозможного — стал уже остро болезненным трепетом балансирования на рискованной грани. Сладость отчаянной схватки за женскую честь, и восторг "нечаянного" падения, и удивление — как могло со мной такое случиться? Когда, в какой момент это произошло?

Тильзит, 13 июня 1807. И притом я настаиваю: женщина эта вовсе не хочет быть изнасилованной, но поди ж ты, сидит в ней какой-то пособник несчастья, агент чужой похоти, чертик, которому просто неймется — хочется выкинуть фортель, подтолкнуть ее к глупости... А уж дальше пойдет, нарастая согласнo лавинообразным законам испорченной кармы, закрепление прежней ошибки. И ничего уже невозможно исправить — чертик окреп, взматерел. Этот черт — просто слабое место в душе — некий пунктик. Таким слабым местом Тильзитского мира стал для нас путанный польский вопрос. Призрачное поначалу Герцогство Варшавское вдруг начало проявляться чертами реальности, пошло стремительно набирать себе плоть. И вот уже скоро для этой плоти могут затребовать наши литовские земли. И вот уже речь заходит о том, кто верней обеспечит Польше национальную независимость — Франция или Россия. Польша, конечно, кобенится... Кукла!

Восстановление Польши руками России и союз с нею против Наполеона — вот любимая мечта Александра I, но поляки решили иначе и передались Франции. Внутренний пунктик Тильзитского мира сыграл свою роль — Наташа безумно влюбилась в Курагина, уже заранее тайно женатого на какой-то польской дворяночке.

Впрочем, почему же на *какой-то*? Известно на какой. Лев Николаич обыгрывает тот исторический факт, что дипломатия Наполеона была густо окрашена в эротические тона. Когда ему

в 1810 году не дали в жены великую княжну Анну Павловну, развратный корсиканец немедленно женился на Марии-Луизе Австрийской. Тут сразу всем стало ясно, что, укрепив таким образом свой тыл, он нападет на Россию. Потому что она соблазняет. Потому что она чертовски привлекательна... Однако же это вожделение после брака с Марией-Луизой выглядит еще более беззаконным.

Берег Немана, 11 июня 1812. Утром Наполеон переоделся в польский мундир и выехал на берег. Увидав на той стороне казаков и расстилавшиеся степи, в середине которых была Москва, Наполеон неожиданно для всех и противно как стратегическим, так и дипломатическим соображениям, приказал наступление. Его, очевидно, тянуло к Москве, и эта тяга была сильнее разума.

Всякий русский человек, глядя на Москву, чувствует, что она мать. Всякий иностранец, глядя на нее и не зная ее материнского значения, должен чувствовать женственный характер этого города. И Наполеон чувствовал его. "Город, занятый неприятелем, подобен девушке, потерявшей невинность", — говорил он и с этой точки зрения смотрел на лежащую перед ним восточную красавицу. Наконец свершилось его давнее, казавшееся ему невозможным, желание. И уверенность обладания волновала и ужасала его. Потеряв голову, он попался на кокетство русской армии, которая завлекает его все глубже и глубже своими нелепыми маневрами. Уже оставлены Вильно, Витебск, Смоленск. Операционная линия Наполеона растянута до невозможности, но он-то ведь мнит, что вот-вот без помех и особых хлопот овладеет, наконец, своей, воспаленной любовным борением, жертвой.

То есть, Наташа готова идти далеко, готова хоть в огонь с Анатодем. Долохов все подготовил — достал денег, свидетелей, нанял расстригу-попа... Что там дальше получится — это неважно. Важно то, что случится сейчас. Нетерпеливо подергивая бедрами, обтянутыми лосинами, благородный любовник взбежал на крыльцо... но — он там нашел не Наташу. Ночь ошибок — на крыльце его встретил огромный Гаврило: к барыне, пожалуйста, приказано привезть... Это Бородино.

Бородино, 26 августа 1812. Так вот куда привела Анатоля его неумная страсть. Она привела его к дуэли с оскорбленным князем Андреем, у которого он отнял невесту. Неудачли-

вость сделала князя Андрея на этот момент представителем всей русской армии. Он повсюду искал Анатоля, чтобы вызвать его. И вот, наконец, эта дуэль — битва при Бородино:

Князя Андрея внесли и положили на стол. На другом столе на спине лежал большой полный человек с закинутой назад головой. Несколько фельдшеров навалились на грудь этому человеку и держали его. Белая большая полная нога быстро и часто, не переставая, дергалась лихорадочными трепетаниями. Человек этот судорожно рыдал и захлебывался. Два доктора молча что-то делали над другой ногой этого человека. Это и был Анатоль.

В то же время занялись и князем Андреем, потерявшим от боли сознание. Вполне вероятно, что вся эта неэстетичная, малогуманная сцена была лишь бредовым видением князя Андрея — только проекцией рыцарственного поединка между русскими и французами. Когда князь очнулся, разбитые кости бедра были вынуты, клоки мяса отрезаны и рана перевязана. Так окончилась эта дуэль на операционных столах, совершен божий суд в исполнении ангелов медперсонала. После перенесенного страдания князь Андрей чувствовал блаженство, давно не испытанное им. Анатоль на своей неудобной позиции стонет: покажите мне... ооо! о! оооо! Ему показали в сапоге с запекшейся кровью отрезанную ногу. О! ооо! — зарыдал он, как женщина. "После сражения было великолепно" — так написал Наполеон. И все же в этот день ужасный вид поля сражения победил ту душевную силу, в которой он полагал свою заслугу и величие. Он на себе переносил те страдания и ту смерть, которые он сейчас видел.

Ну а нам эта безапелляционная ампутация ноги должна отчетливо показать, что нашествие остановлено. Французское войско могло еще по инерции докатиться до Москвы, но там оно должно было погибнуть, истекая кровью от нанесенной при Бородино раны. И Анатоль неожиданно умер после того, как ему отрезали ногу.

Можайская дорога, 27 августа 1812. После сражения Пьер впал в такое состояние, в котором на дороге легче встретить бога, чем человека. И он встречает его. Пройдя версты три по дороге, Пьер сел на краю ее. Сумерки спустились на землю. Облокотившись на руку, он лег и лежал так долго, глядя на подвигавшиеся мимо него в темноте тени. Он не помнил, сколько

времени пробыл он тут. В середине ночи трое солдат, притаившись сучьев, поместились подле него и стали разводить огонь... "Ветхозаветная троица" по графу Толстому. Приготовление жертвенной пищи: солдаты поставили на огонь котелок, накрошили в него сухарей, положили сала. Приятный запах съестного и жирного яства слился с запахом дыма. Пьер приподнялся и вздохнул. Сцена причастия:

— Да ты из каких будешь? (то есть, честный ли ты человек)?

— Я приезжал на сражение и потерял своих.

— Вишь ты! Что ж, поешь кавардачку.

Кушанье ему показалось самым вкусным из всех, которые он когда-либо ел. Ангелы смотрят на Пьера.

— Тебе куда надо-то? Ты скажи!

— Мне в Можайск.

— Ну пойдем, мы тебя отвеем.

И три солдата приводят его к пониманию того, что война есть наитруднейшее подчинение человека законам бога. Во всяком случае, именно так говорит Пьеру внутренний голос русского бога во сне: простота есть покорность богу, от него не уйдешь, и солдаты эти просты. Битва армий видится в первом сне противоборством двух принципов — принципа культуры и принципа простоты, окрашенных соответственно в тона насилия и страдания. Рожденные, чтобы петь и кричать — с одной стороны, а с другой — простые солдаты, рожденные молчать и терпеть. Таким образом, Пьер открыл в человеке терпеливого простеца и отныне с бараньим упорством неопита будет идти к опрощению. Впрочем, голос во сне вовсе не так уж и настаивает на опрощении, он говорит лишь о том, что надо сопрягать в душе своей значение всего. Да, сопрягать надо, пора сопрягать, — думает Пьер во сне, а за границей сна это слышится так: "Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство!" Так народный бог простоты почтительнейше понуждает их сиятельство встать в упряжку. Пьер открывает глаза, смотрит в окно и видит, не узнавая, икону своей ближайшей судьбы: грязный двор, солдат, худых лошадей и подводы. И в первый момент он с отвращением отворачивается от своих грез опрощения: нет, я не хочу этого видеть и понимать. Я хочу понять то, что открылось мне во время сна. Еще одна секунда, и я все понял бы. Сопрягать, но как сопрягать все?

Москва, 2 сентября 1812. Лев Николаич называет два чувства, которые снова толкают Пьера к наполеоноубийству. Во-первых, чувство потребности жертвы и страдания при сознании общего несчастья. И во-вторых, чувство, что и богатство, и власть, и жизнь, если и стоят чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это можно бросить. Это то русское чувство, — уточняет Лев Николаич, — вследствие которого человек, совершая безумные дела, как бы пробует свою личную власть и силу, заявляя присутствие высшего, стоящего вне человеческих условий суда над жизнью. Понятно, что речь идет об одной из ипостасей солдатского бога. Речь идет об Авось.

Оставшись в Москве, Пьер поселился в доме своего, теперь уже умершего, масонского благодетеля. Интенсивное богообщение — грубая пища, водка, бессонные ночи и чтение книг — приводит его в состояние, близкое к помешательству. Он переделся в кафтан оперного мужика, он купил пистолет, он готовит слова, которые скажет Зверю в момент покушения: не я, а рука провидения казнит тебя... Сумасшедший брат умершего масона бесчинствует в доме, безумит Пьера: к оружию! На абордаж! — орет он. Ты кого? Бонапарт?.. И как раз в это время многоликий, как Шива, Наполеон входит в комнату. На этот раз он является в образе капигана Рамбаля, который после Бородина, естественно, прихрамывает. Сумасшедший стреляет, но к счастью промахивается, ибо Пьер, понимая, что перед ним вовсе не враг рода человеческого, отводит безумную руку. Капитан невредим и за великое дело спасения своей жизни тут же производит Пьера во французы. Ему очень приятно встретить здесь соотечественника. Нет, если вы непременно хотите слыть за русского, то пускай это будет так, но... Страшны в сражениях, любезны с красавицами — вот французы, господин Пьер, не правда ли? Кстати, скажите пожалуйста, правда ли, что все женщины уехали из Москвы? Что за дурацкая мысль поехать зарыться в степи, когда французская армия в Москве? Они пропустили чудесный случай...

Москва, 2 октября 1988. Бородинское сражение, как мы теперь начинаем понимать, это такое любовное сопряжение, в котором женщина, страстно желая отдаться, борется со своим любезным врагом, кусает его и царапает, и мешает ему исполнить то, чего они оба так жаждут. Эту женщину в детстве слишком жестоко воспитывали, крепко ее наставляли в амазонской

фригидной морали, боялись, что она слишком рано даст волю своей девичьей кукле. И переусердствовали — испортили куклу. Теперь ей пора бы уже расстаться с девичеством, и она сама как раз этого хочет, но внутри себя слышит пугающий окрик: нельзя! — и дрожит, и сжимается, борется, сама с собой, борется с партнером, который от этого сопротивления только безумеет, что, в свою очередь, еще больше распялет куклу, но, тем самым, и укрепляет амазонку-запретчика в ней. Чем больше такая девушка хочет отдаться, тем больше царапается. В результате оргазм все-таки наступает, но коитус получается какой-то противоестественный. Тут каждый из партнеров считает себя победившим и каждый в глубине души понимает, что он побежден.

Крайние националисты все еще сомневаются — было ли брошено семя в матку нашей души или нет? Как можно?! Конечно же было. Пьер Безухов — как раз это семя. Он субъект трансплантации органов французской души в душу русскую. Иначе бы как он мог изнутри наблюдать этот кошмарный сизигий Европы и Азии? Эти потные изувеченные тела, этот кал, перемешанный с кровью и мясом, хлюпанье влажной земли, разверстое алчно влагалище почвы, жадно вбирающей вздрагивающую протоплазму живой человеческой плоти — это все Пьер наблюдал изнутри, как маленький сперматозоид. И он вместе с солдатской массой излился в Москву и остался в ней, исходящей огнем покаянного сладострастия. Он остался в Москве, чтобы сбросить с себя "внешнего человека", ибо чувствовал мощную руку вновь обретенного бога, который вел его — так уж Пьеру казалось — прямо к убийству Наполеона... Снова ошибка. Русский бог привел француза Безухова прямо к своей сердцевине. Он привел его к самому средоточию русской жизни (и с тех пор у нас Франция в сердце), к самому интимному в ней — тюрьме и расстрелу. Правда, по условиям времени тюрьму и расстрел осуществляли французы, попавшие в плен бесконечных российских пространств.

Москва, 3 сентября 1812. По первоначальному замыслу Льва Николаича в захваченной неприятелем Москве Пьер должен был встретить масонов. А иначе получается, что французское нашествие — это какая-то безыдейная ерунда, а не подлинная мистерия совокупления двух великих народов. Вот например, этот симпатичный капитан Рамбаль — не масон ли он? Что-

то не очень похоже. Пьер делает масонские знаки, но его не понимают. И что-то не клеится разговор о возвышенной любви, которая движет солнце и другие светила. Правда, Рамбаль, как истый француз и знаток, преподал-таки Пьеру науку любви. Но в учении о любви, которую так любил француз, не было ничего специфически масонского, ничего платоновского. Его любовь заключалась преимущественно в неестественности отношений к женщине и в комбинации уродливостей, которые придавали главную прелесть чувству. Пьеру это не может быть близко, ибо любовные похождения француз до мельчайших деталей совпадают с завоевательными походами Наполеона и с его дипломатией. А это отнюдь не масонство. Вот в первоначальной редакции романа в Москве и действительно появлялся прекрасный масон — мальчик итальянец Пончини, с которым Пьер все целуется, а здесь, в окончательном тексте, масона мы можем увидеть только в жестоком маршале Даву. Обменявшись пристальными взглядами, Пьер и Даву поняли, что они — я цитирую — оба дети человечества, что они *братья*. И вот брат высокого градуса, маршал Даву, посылает Пьера на последнее наитруднейшее испытание — сбросить бремя внешнего человека.

Москва, 8 сентября 1812. После казни Пьера (а это звучит так, как будто его и действительно расстреляли), оставили одного в небольшой разоренной и загаженной церкви. Здесь все напоминает ту темную храмину, в которой оставили Пьера во время посвящения его в масоны. И вот за ним снова приходят, но приходит не прежний его поручитель, а унтер с двумя солдатами. И как когда-то, приставив к груди обнаженное оружие, его снова ведут. На этот раз в барак. В сущности, это тоже масонская ложа, но при первом посвящении Пьер увидел "малый свет", а теперь, по смыслу событий, он должен увидеть большой. Вот он: несколько человек окружили его в темноте. Но тот ад, в который Пьер сейчас опустился, был значительно глубже и подлинней, чем ад масонский. Сейчас не было отчетливого ритуала и отточено ясной символики. Пьер не понимал, кто эти люди и чего они хотят от него. Он слышал слова и не понимал их значения. Он смотрел на лица и фигуры, и все они казались ему одинаково бессмысленны. В храмине его души как будто была вынута та пружина, на которой все держалось, и все завалилось в кучу бессмысленного сора. Он сейчас посвя-

щался в такие хтонические глубины, где не было места его европейскому пониманию жизни, а по-нашему он еще ничего не умел сознавать. Он привык к зримой пластичности "малого света", а здесь надо было ориентироваться наощупь, на запах, на вкус. Даже присутствие своего Вергилия в этом аду Пьер заметил сначала по крепкому запаху пота, отделяющемуся от него при всяком движении. Это был знаменитый Платон Каратаев, а запах его — русский дух. Первым делом Платон причащает Пьера печеной картошкой, а затем дает краткую проповедь, суть которой: от сумы, да от тюрьмы никогда не отказывайся. И Пьер почувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых незыблемых основах, двигался в его душе.

Москва, 10 сентября 1812. Платон Каратаев, согласно Толстому — олицетворение всего русского, доброго и круглого. Идеал совершенства. Нетронутая разлагающим влиянием протоплазма народа. Существо без пола и возраста. Лицо его имело выражение невинности. Голос приятный и певучий. Но главная особенность его речи состояла в непосредственности и спороности. Он, видимо, никогда не думал о том, что сказал и что скажет, и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность. Когда он говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит. Он не мог вспомнить того, что он сказал минуту назад. Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно и непосредственно, как запах отделяется от цветка.

Эти разговоры о всеединстве — о частицах, которые не имеют смысла без целого, коим пахнет от них, — не случайно сюда затесались. Здесь дает обнюхать себя русская редакция "Общественного договора" Руссо: "Каждый из нас отдает свою личность и всю мощь под верховное руководство общей воли, и мы вместе принимаем каждого члена как нераздельную часть целого". Вопрос только в том, какова эта общая воля? Каково содержание сознания нашего суверена? Что он вообще собой

представляет? Согласно клинической картине слабоумия, нарисованной Львом Николаичем, Платон Каратаев — чукча, который поет глухарем на току, сам не слыша себя. Он поет потому, что звуки эти так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться. У него в голове есть органчик, на котором как будто бы кто-то играет. Кто? Да, пожалуй, вот этот как раз суверен, русский бог, царь подпольного мира, лиловый Анубис, который транслирует скрытые смыслы адских глубин, грезящей смертностью души. Именно смертью — мы в этом сейчас убедимся.

Москва, 6 октября 1812. Общение с Платоном Каратаевым имело самое благотворное и национализирующее влияние на Пьера. Борода и усы обросли нижнюю часть его лица, отросшие, спутанные волосы на голове, наполненные вшами, курчавились шапкой. Прежняя его распушенность, выражавшаяся во взгляде, заменилась теперь энергической, готовою на деятельность и отпор — подобранностью. И всякий раз, как он взглядывал на свои босые ноги, на лице его пробегала улыбка оживления и самодовольства. Вид этих босых ног напоминал ему все то, что он пережил и понял за это время, и воспоминание это было ему приятно.

Очевидно, что Пьер уже сумел глубоко проникнуть в душу Платона, и многому от него научился. Конечно, он все еще помнит французский язык, все еще никак не может избавиться от способности мыслить. Но он уж смотрит на мир с безотчетным восторгом всепрощения и какая-то, едва ли не главная, часть души у Платона и Пьера — общая. Эту общую часть души, обретенную Пьером в аду, эту русскую часть — воплощает собою кривоногая, золотушная, лиловая, бездомная собачка. Настоящий Анубис французского плена.

Собачка эта жила у них в балагане, ночуя с Каратаевым. Она, вероятно, никогда никому не принадлежала, и теперь она была ничья и не имела названия. Непринадлежание ее никому и отсутствие имени и даже породы, даже определенного цвета, казалось, нисколько не затрудняло лиловую собачку. Далее следует описание ее образа жизни, очень похожего на образ жизни Платона Каратаева. Это естественно, раз уж мы догадались, что собачка — душа. Однако же, каково содержание этой столь апофатично описанной души Платона, а в конечном счете — и Пьера? В двух словах — это радость страдания. В разо-

ренной и сожженной Москве Пьер испытывал почти крайние пределы лишений. которые может перенести человек, но он переносил не только легко, но и радостно свое положение. И именно в это-то самое время он получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде. Он искал этого путем мысли, и все эти искания и попытки обманули его. И он сам, не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собой только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве. Он понял: все вложенные в нас стремления к счастью положительному вложены только для того, чтобы, не удовлетворяя, мучить нас. Удовлетворение потребностей — хорошая пища, чистота, свобода — теперь, когда он был лишен всего этого, казалось Пьеру совершенным счастьем.

Большая Смоленская дорога, 23 октября 1812. В плену, в бараке Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что счастье состоит в удовлетворении естественных потребностей, и что все несчастье происходит не от недостатка, а от излишка. Но теперь на этапе он узнал еще новую утешительную истину — что на свете вообще нет ничего страшного. Лошадиное мясо было вкусно и питательно, селитренный букет пороха, употребляемого вместо соли, был даже приятен, холода особого не было, вши, евшие тело, приятно согревали. Пьер не видел и не слышал, как пристреливали отставших, хотя более сотни из них уже погибли таким образом. Он не думал о Каратаеве, который, очевидно, скоро должен был подвергнуться той же участи.

Поистине, эпическое описание собачьей жизни. Оно прямо-таки выпевается из самых заветных глубин. И какая звукопись: вши евшие... Здравствуй же, русская правда подвольного ада души, где протоплазма, свободная от всяких излишков, плодящих несчастье, занята праведным делом самопожирания. Кривоногий лиловатый Анубис, царь загробного мира, душа мертвого мира, душа мертвого общества пленных, весело бежал стороной дороги, бросаясь на вороньев, которые сидели на падали. Он был веселее и глаже, чем в Москве. Со всех сторон лежало мясо различных животных — от человеческого до лошадиного, в различных степенях разложения. Анубис мог наедаться сколько угодно.

Так жиреет и крепнет адская душа Каратаева на несчастье — своим и своих близких, — так из глубин прорастает и

дает себя осознать самоедская жажда страданий — зараза, которая жиреет на падали, хватается костяшками пальцев здоровых за горло, проникает в самую душу, разлагает ее. И вот мы уже растроганно слушаем миф, который Платон Каратаев рассказывает напоследок, перед тем, как его пристрелят. Как ни хорошо знал Пьер эту историю, он теперь прислушивался к ней, как к чему-то новому, и тот тихий восторг, который, рассказывая, видимо, испытывает Каратаев, сообщился и Пьеру.

Это история о купце, заночевавшем на постоялом дворе с товарищем. Наутро товарищ купца был найден зарезанным, а у купца под подушкой — окровавленный нож. Ну и купца, конечно, судили, наказали и, выдернув ноздри — как следует по порядку, — сослали на каторгу. И вот уже десять лет живет купец на каторге. Как следует, покоряется, худого не делает, только у бога смерти просит. Что же и делать, раз человека *бог сыскал*? Одно только ему жалко — жену и детей... А тут же рядом с ним сидит настоящий убийца. Поглядел он на купца, и заболело разбойничье сердце. Не выдержал — решил покаяться. Выпускать, значит, надо купца... Только пока суд да дело, пока пришел царский указ, а уж — катарсис! — старичка бог простил. Так-то, соколик, — закончил Платон Каратаев и долго, молча улыбаясь, смотрел перед собой. Не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, которая сияла на лице Каратаева при этом рассказе, таинственное значение этой радости, это-то смутно и радостно и наполняло теперь душу Пьера.

Москва, 7 октября 1988. Ну чему же тут радоваться? Ведь только подумать, что вот это вот самое мы долбим в школе почти наизусть! В чем таинственный смысл этой гнусной истории? Откуда этот абсурдный катарсис, переполняющий души Платона, Пьера, Толстого, читателя? Что за струны задеты в нашей душе и дребезжат в слезливом восторге? Глубокие струны, самая основа нашей национальной мифологии. Главная прелесть истории про купца даже не в том, что его посадили безвинно, а в том, что в результате бумажно-бюрократической волокиты он не дожил до освобождения. Что ни говорите, а любит страдание русский народ, не может не страдать, стремится к страданию. Мы стремимся в места заключения и благодарны всякому, кто нас туда определит. А если начнут навязывать нам свободу, мы протестуем — не можем поступиться прин-

ципами. Все делаем для того, чтобы жизнь свою сделать несносной. А потом сидим по уши в дерьме и мечтаем о лучшей жизни. Мы и врага к Москве приведем, чтобы страну разорил. Мы и Сталина над собой поставим, чтобы жить в опьяняющем страхе. И сколько радости по этому поводу — восторг умиления. Не сомневаюсь, нынешняя эстетика нашей жизни, критикуя, смакуя лагерь и застой, растет из гнилого корня все той же платонкаратаевщины. Что далеко ходить — я вот сам ужасно пугаюсь, когда у меня в жизни все идет хорошо — не к добру это! — и прилагаешь все усилия, чтобы все побыстрее испортить. Потому что чувствуешь себя неудобно, живя хорошо. Побыстрее бы в тюрьму, хоть какую-нибудь символическую — закабалиться. Я всю жизнь работаю то дворником, то сторожем и чувствую себя хорошо. Вши, правда, тела пока не едят, но все же тебя и оскорбить могут, и плюнуть в тебя — вот и реализована национальная психология.

Ясная Поляна, 11 сентября 1979. Итак, близится к концу приготовление философского камня русского демократического движения, изображенное Львом Толстым. От французского "братства, свободы и равенства" отделена уже похоть немедленного действия. Получился бесполоый гомункул, который кипятился в масонской реторте семь лет, порождая в своей самодовлеющей чистоте лишь облака романтических бредней. Голубой туман социальных иллюзий осаждался на стенках реторты, но не касался реальных дел. Не находилось места, куда эти французские идеи присобачить. Потрясение наполеоновского нашествия способствовало разгерметизации реторты. Это случилось 27 августа (8 сентября) 1812 года, когда сразу после сражения Бог говорил Пьеру во сне о том, что надо сопрягать в своей душе разбойника и купца, Наполеона Бонапарта с Платоном Каратаевым. Когда реторта того сна раскололась, Пьер услышал слово "сопрягать" как "запрягать". Это и определило весь ход дальнейшего его поведения: солдатом быть, просто солдатом, несчастным купцом, Платоном Каратаевым. Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими... Пьер скидывает с себя лишнее дьявольское, разбивает реторту — бремя внешнего человека! — стерильное ее содержимое проливается в почву, смешивается с ее составом. Результат для нас получился катастрофический — Пьер женился на Наташе Ростовской. То есть, французская идеология,

предполагающая некие устройства для улавливания, переработки, усиления и трансляции воли народа, — отдельные фрагменты этих французских формальных устройств попали на русскую почву и сопряглись с нашей национальной волей к смерти и вшивости. В результате родилось русское революционно-демократическое движение, которое медленно, но верно повело нас к сталинским лагерям.

Ах, зачем вы пестовали страдание, Петр Кирилыч, не надо было этого делать — ведь страдальцы не так беззащитны. Ведь вы же сами видели, что страдалец — это психологический тип, а не преходящее состояние. Это натура такая — посади его в рай, он и там найдет средства страдать. Но он может распространить свое страдание на всех окружающих — путем сострадания. В крайнем случае он может заставить пострадать всякого вместе с собой, ибо у него в руках ружье, изобретенное тем, кто поет и смеется.

Лысье Горы, 5 декабря 1820. Пьер только что приехал из Петербурга, где обсуждал важные вопросы, касавшиеся одного только что организованного общества. Теперь он, давась от самодовольства и чувства собственной значительности, докладывает результаты своей поездки домашним. Он говорит, что просвещение и благотворительность — дело хорошее, но в настоящих условиях надо другое. Надо как можно теснее и больше народа взяться рука с рукой. Расширьте круг общества. Общество может быть не тайное, если правительство его допустит. Общество джентльменов в полном значении этого слова. Ведь я не говорю, что мы должны проиводействовать чему-то конкретному. Мы можем ошибаться. А я говорю: возьмитесь рука с рукою те, которые любят добро. Ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто. Идея народного фронта. Беда только в том, что в рупор этого фронта будет гавкать лиловый Анубис.

Наташа радостно смотрела на мужа. Она не сомневалась в том, что мысль Пьера о хороводах любителей всякого рода добра была великая мысль. Она не радовалась тому, что он говорил. Это даже не интересовало ее, потому что ей казалось, что все это было чрезвычайно просто и что она все это давно уже знала, ибо знала все то, из чего это выходило, — всю душу Пьера. Одно только ее смущало: неужели этот важный и нужный гомункул — мой муж?

Лысые Горы, 6 декабря 1820. После замужества Наташа пополнила и поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю Наташу. Теперь часто видно было ее лицо, а души вовсе не было видно. Она не была ни мила, ни любезна. Она не следовала правилу, проповедываемому французами, что девушка, выходя замуж, не должна опускаться. Наташе нужен был муж. Муж был дан ей. И Наташа бросила сразу все свои очарования. Она чувствовала, что прежние очарования теперь были бы только смешны в глазах ее мужа, который прошел науку преисподней под руководством Каратаева. Ее связь с мужем держалась не поэтическими чувствами, которые привлекали его к ней в годы романтического масонства, а держалась чем-то другим, неопределенным, но твердым, как связь ее собственной души с телом. Держалась лиловой собачкой, разжиревшей на трупах. Собачкой, которая была изначально русской почвой души всех Ростовых. Тем навозом, который составляет основу русского плодородия, — самопожертвованием. И Пьер, съевший собаку на каратаевщине, чувствовал ясное твердое сознание того, что он, Пьер, не дурной человек, и чувствовал это он потому, что видел себя отраженным в жене, которая, вне всяких сомнений, представлялась ему Каратаевым в юбке.

Так и есть. "Ты знаешь, о чем я подумала? — вдруг перебила Наташа рассуждения мужа о народном фронте. — О Платоне Каратаеве. Как он? Одобрил бы тебя теперь?" Пьер понял ход мыслей жены. Он задумался, видимо, искренне пытаясь представить себе суждение Каратаева об обществе подлинных джентльменов, взявших за руки ради того, чтобы не ошибиться, противоборствуя злу. "Он не понял бы нас, — сказал Пьер. Но потом, представив себе, как джентльмены держат друг друга за руки, чтобы не дай бог кто-нибудь что-то не сделал крамольное, добавил: — А впрочем, я думаю, что да".

"Я ужасно люблю тебя! — сказала вдруг Наташа. — Ужасно, ужасно!"

"Нет, не одобрил бы, — сказал Пьер, подумав. — Что он одобрил бы, это нашу семейную жизнь".

Что и говорить — жизнь вполне каратаевская. А вот перенесение круговой поруки крестьянской общины в общество светских джентльменов Платон Каратаев вряд ли одобрил бы. И, во-первых, потому, что не совсем ясно, какие позитивные

функции может выполнять круговая порука в обществе этих дворянских индивидуалистов? В крестьянском быту ей присущи фискальные функции: общество должно давить на своих членов, чтобы они вовремя и сполна вносили подати, обирали себя до нитки — во имя Анубиса... Но братья за руки, чтобы защищаться от "кулака-мироеда" Аракчеева — это, знаете ли, как-то не по-каратаевски. Это значит бежать от сумы и тюрьмы... Этого Каратаев не понял бы. Впрочем, в конце концов, созданное Пьером общество окажется самой верной дорогой в тюрьму. У Пьера свой собственный путь.

Москва, 11 октября 1988. На протяжении четырех томов "Войны и Мира" Пьер и Наташа ищут друг друга. Наташа как бы пробует на вкус различные инородные влияния. Это и немецкие вздыхания князя Андрея, и французский напор Анатоля, и, наконец уже, цивилизующее влияние Пьера, бесполого (или все же двуполого?) существа, какого-то искусственного гомункула, приготовленного в реторте масонских посвящений и вобравшего в себя все. Он прошел искусство и наполеоновского брутализма, и мартинистского скопчества, и русской каратаевщины. Алхимические реакции привили ему и революционный радикализм, и высокоумную таинственность социальной архитектоники, и идущую из глубин русской жизни волю к тюрьме.

Это последнее особенно важно Наташе, поместившей несмышленного гомункула под свой домашний каблук. Но ей несомненно нужны и укрошенные остатки курагинской похоти, и прививка немецкого умствования князя Андрея. Как помним, она бы хотела иметь их всех сразу мужьями и всех получила в лице многоликого Пьера. Многосоставность эта очень важна для Наташи, которая видит цель жизни в том, чтобы наплодить побольше детей — таких, в структуре души которых все это совместится органично. Наташа чувствует в себе призвание породить новую русскую нацию, в которой чужая идеология будет усвоена так, что станет своей органично-неотделимой от русского духа и неузнаваемо отличной от духа французского, которым проникнуто было наше дворянское общество во время катаклизмов прошлого века. Эти катаклизмы и были мичуринской операцией приживления нам чужой ткани, и эту операцию описал в своем романе Толстой, тиражировав таким образом Наташиных детей в неисчислимых количествах. Так

что уж признаем Наташу Ростову нашей общей прабабушкой. Преломившись в ней, русская жизнь изменилась. Если раньше наше образованное общество думало по-французски, и все удивлялись тем редким искусникам, которые особенно ловко умели перевести свои мысли с французского языка на русский, то теперь поколения Наташиных потомков будут думать свободно французскую мысль по-русски, и никого это не удивит. И результаты получатся чисто русские — прямиком за мысли в Сибирь. Ибо в русском обществе народились не только Наташины дети, но и дети второй нашей мифологической пары — Николая Ростова и Марьи Болконской. О становлении этой второй, охранительной структуры нашего общества речь пойдет в следующей части. Сейчас надо только отметить, что эта вторая структура нам очень нужна, ибо без нее каратаевской душе трудно достигнуть своей заветной цели — тюрьмы и сумы.

Всего пять лет остается до декабрьского выступления на Сенатской площади, откуда Пьер и Наташа отправятся в дальнее путешествие на восток. Из Сибири они вернутся только через тридцать лет, после смерти Николая I, положившей начало новой оттепели... Но, как говорится в русских романах, это уже совсем другая история — не "Война и мир", а "Декабристы".

Декабристы разбудили Герцена. Но всего забавнее то, что французская идеология, почившая в платонкаратаевском коконе, попадает, носимая ветром, на парижскую улицу, где все всходит даже лучше, чем на навозе. И вот, это гибридное растение уже колосится, дает какие-то плоды. В 68-м году мы с изумлением наблюдали это плодоношение, а в 76-м — один из таких плодов вырождает у нас на глазах французская девушка Доминик, специально для этой цели приехавшая в Москву. Комсомольский привет ей от правнуков Пьера Безухова. Кстати, эта фамилия происходит от немецкого слова *besuch*, что означает — посещение.



О КАЛИДАСЕ

Раджа Бходжа управлял государством мудро и справедливо. Он выстроил крепости на границах, обнес города неприступной стеною, на башнях расставил дозорных в тюрбанах. Он призвал в свое войско множество раджутов и сикхов, обеспечил наилучшим вооружением, дал им боевых коней, колесницы, верблюдов и мощные отряды слонов. Он украсил их доспехи золотом, серебром и дорогими камнями, он повелел им стеречь границы и водворять спокойствие на проезжих дорогах. Благодаря принятым раджей Бходжею мерам держава его процветала: в столицу стекалось лучшее, что только есть во вселенной. Каждый вечер в царском дворце пировали, и души раджи и друзей услаждались там стихами поэтов. Первым из них был великий поэт Калидаса. Раджа всякий раз давал Калидасе большие подарки — так что благодаря щедрости Бходжи росла слава поэта, тот же, в свою очередь, не уставал прославлять неоскудевающее великодушие раджи, своего повелителя. А городская молва доносила слухи о том до самых отдаленных селений.

Однажды брамины в дальней глуши собрались потолковать.

— Хотя мы не можем жаловаться на свое положение, будучи под властью столь мудрого и просвещенного самодержца, оно как-никак оставляет желать лучшего, — сказал один.

— Все вокруг нас какая-то тупая деревенщина, — сказал другой.

— Священные обряды в пренебрежении, редко кто хочет тут слушать возвышенные гимны Ригведы, приносить богам жертвы молоком и сливочным маслом. Только и знают, что роются в земле, не помышляя о высоком, а нам с ними хоть пропадай.

Посоветовавшись, брамины решили, что нет у них лучшего выхода, кроме как отправиться в столицу и там просить у раджи.

— Раджа чтит поэзию. Говорят, он дает Калидасе золотую монету за каждую строчку.

— А за четыре строки добавляет немалый рубин.

— А за поэму дает ожерелье.

— А за большую поэму — слона.

— А за драму, которая шла всего лишь вечер, подарил ему город со всеми доходами и таможенными на три дня пути по торговому тракту.

Подобными разговорами брамины скоротали дорогу к столице. В тени городской стены путники остановились поразмыслить.

— Мы должны обратиться к радже с разумным стихотворением.

— Я полагаю, раджа не потерпит никакой лжи, пусть даже возвышенной.

— Поэзии приличествует полная прямота.

— Скажем ему просто и недвусмысленно.

— Что нам надо, о том и попросим.

— Итак, начинаем.

Один из браминов тут же сорвал лист священного фикуса и принялся чертить на нем острой палочкой:

О, поддержи, раджа, браминов даровитых...

— Нехорошо, — сказал другой.

— Чем же? — спросил тот, который сочинил поэтическую строчку.

— По двум причинам. Прежде всего, вместо "поддержки" раджа, конечно, услышит "подержи", задумается и не обратит внимания на последующее и более для нас важное. Нужно, чтобы мысль государя как бы скользнула по самой поверхности стиха до того места, которое представляется нам решительным,

а именно там запнулась, углубилась и остановилась. Может быть, тогда он все сделает по нашей просьбе.

— Каков же второй недостаток? — спросил третий брамин.

— Второй заключается в слове "даровитых" Это ведь мы ожидаем даров от раджи, а не он от нас. Не к лицу нам именовать себя в таком положении даровитыми.

— Тогда попробуем иначе:

О, даровитый раджа...

— Нет, нет. Мы не знаем, окажется ли раджа в нашем случае даровитым или бездарным...

— Бездарными будем тогда мы, а не раджа.

— Раз так, давайте постараемся обойти этот скользкий вопрос. Заявим радже прямо, как есть:

О, одари раджа...

— Звучит прекрасно. Но о каком даре пойдет у нас речь далее? Вдруг радже придет в голову одарить нас боевым слонном? Хороши же мы будем — кормить такое огромное животное, когда у самих во рту уже день ни крошки.

— Слона-то можно, пожалуй, продать.

— Продать? В неизвестные руки? А там он вернется в царское стойло — и не видать нам более государственной милости. Стоит позаботиться о нашей будущей судьбе, а не только о внешних достоинствах стихотворения. Продать — да что мы — слоновые торговцы? Мы не получим, конечно, хорошей цены, да к тому ж запрещает и каста.

В спорах о слоне наступил вечер, а с ним и ночь. К утру брамины все же немного продвинулись в своем деле: постановили, что начать стихотворную мольбу нужно кратким и выразительным "дай":

О дай, раджа...

и на том согласились. Теперь пришел черед решить, чего бы им такого у раджи попросить, что бы он им дал.

— Золота мы у Бходжи просить не будем, о серебре умолять не станем — пусть идет серебро — мастерам, а желтый металл — торгашам хутородным. Ни мечей с рукоятками в изумрудах, ни копий стальных с перламутровым древком мы не

желаем, а с ними щиты в бирюзовых гвоздях пускай повелитель оставит себе, чтоб одаривать воинов. Скажем лучше:

О дай, раджа...

чего-нибудь нам малого, да верного, а там положимся на его несомненную щедрость.

Еще через пару часов пререканий получилось у них нечто в таком роде:

О дай, раджа, поешь,
Дай каши с жирною подливкой... —

а дальше — ни с места.

Шел мимо Калидаса.

— Вот у кого надо спросить.

Калидаса приблизился.

— Калидаса, — обратились к нему брамины и вкратце объяснили суть своих затруднений.

— Дайте посмотреть, — сказал Калидаса. — Ганеша! — воскликнул он и прочитал вполголоса:

О дай, раджа, поешь...

Какая непосредственность выражений! Какая точность мысли и верность речи!

Дай каши с жирною подливкой...

Да я словно сам наяву вижу это замечательное кушанье! Сладостный пар ласкает лицо мне, и зерна риса сверкают как влажный кварц на речной отмели! Это ли не верх совершенства! Такое произведение невероятно трудно создать и почти невозможно закончить! Все же я попытаюсь.

С этими словами он быстро набросал на листе третью строчку и тут же удалился.

Брамины двинулись ко дворцу раджи. У ворот они услышали глашатая, который громко орал:

— Великая милость! Сегодня раджа Бходжа не встанет с трона, пока не исполнит сокровенных желаний своих преданных подданных! Никто да не пренебрежет щедрым великодушием государя!

— Мы пришли в самое время, — подумали брамины.

Дворец был переполнен. Раджа сидел на высоком троне,

украшенном райскими птицами. Вокруг стояла блестящая стража в шелку и в кольчугах. Присутствующие объявляли желания, а царь все исполнял.

— Хочу стать фельдмаршалом, — говорил седой генерал.

— Да будет по твоему желанию, — отвечал Бходжа с милостивой улыбкой.

— Прошу дозволения торговать в столице дарами моря, — просил купец.

— Хочешь — торгуй, — отвечал государь.

— Мне нужна древнейшая книга Лилавати для роковых вычислений, — кланялся астролог.

— Иди в нашу царскую библиотеку, там возьми.

Звездочет шел в книгохранилище.

Женщины, которым давали жемчуга, кораллы, а кому — запястья в карбункулах, получали свое и, веселясь, удалялись. Постепенно становилось пусто. Взор царя медленно обводил стены в поисках кого-то и лишь мельком скользнул по трем браминам, которые теперь были совсем одни в ожидании, когда же наступит их очередь.

Вдруг в дверях раздался шум и звон, возникло тихое смятение, и два воина в пышном вооружении ввели Калидасу. Царь посмотрел в лицо поэту. Тот нетвердо стоял на ногах.

— Калидаса, — сказал Бходжа с мягким укором, — мне всегда было известно, что нрав твой строптив и скверен. Несмотря на мое неизменное благоволение, ты ведешь себя так, словно вечно чем-то недоволен. Невзирая на даримые мною дары, ты подчас употребляешь свое немалое дарование не впрок и распускаешь обо мне в народе насмешливые стишки. Но я не гневаюсь. Я понимаю природу поэта: она требует воли в речах. Пойми же и ты, поэт, природу государя: она требует воли в дарах. Итак, выскажи свое желание и немедля дай мне его исполнить, ибо я не встану с этого места, пока все мои подданные не будут удовлетворены.

Калидаса не отвечал.

— Почему ты молчишь? — спросил раджа во второй и в третий раз. — Неужто ты уподобился тем святым подвижникам, которые постоянным воздержанием довели себя до того, что у них последние чувства иссякли. Но ты на них вовсе не похож, ибо, сдается мне, совершенно пьян! Или ты молчишь оттого, что у тебя язык заплетается?

— О раджа, — отвечал ему Калидаса, — я молчу потому, что моего желания ты не исполнишь.

— Негоднейший из подданных! — воскликнул Бходжа. — Во что ты ставишь наше могущество и царские клятвы! Немедленно говори!

— Тогда выслушай сначала тех бедных браминов, которые вон притаились в углу и трясутся от страха. Ты и на их-то жалкую просьбу вряд ли найдешь, что ответить!

В гнев царь взглянул на браминов и велел начинать. Те вышли на середину все трое и загнусавили хором:

О дай, раджа, поесть.

Дай каши с жирною подливкой...

Услыша это, раджа вскочил с трона, глаза его засверкали, он готов был дать знак страже, а стража уже обнажала мечи, когда зазвучала третья строка:

И простоквашу белую, как лунное сиянье.

— Где же я достану им такую простоквашу? — пронеслось в голове у раджи. — Я могу завалить кашей Кашмир и Кашгар, я могу вылить в Малабарское море океан похлебки, но где — да будет мне Шива свидетель! — где добыть им такой простокваши? — и он опустил на прежнее место.

— О великий раджа, — сказал ему тогда Калидаса. — Ты уже исполнил свою клятву, когда согласился выслушать стихи этих обездоленных певцов по моей просьбе. А их желание удовлетворить нетрудно: ведь третья строка — моя.

— Будь по-твоему, — тихо ответил Бходжа.

И царь повелел всегда давать тем браминам риса и фиников.

А Калидаса прямо из дворца отправился к своей потаскухе. Он звал ее Девы, то есть Богиня.



Э. Лимонов

КРАСАВИЦА, ВДОХНОВЛЯВШАЯ ПОЭТА

Я был неимоверно нагл в ту осень. Нагл, как рабочий, забравшийся в постель графини, как, наконец, сделавший крупное "дело" мелкий криминал.

...Моя первая книга должна была появиться в парижских магазинах через месяц. Я взял с собой в Лондон сигнальный экземпляр.

Мне хотелось плевать в рожи прохожим, выхватывать младенцев из колясок, запускать руку под юбки скромнейшим пожилым женщинам. Пьяный, выходя из Винного погреба на Слоан Сквэр, я помню, едва удержался от того, чтобы не схватить полицейского за ухо. Диана удержала меня силой. Я лишь частично наслаждался, показывая на розовую рожу "бобби" пальцем и хохоча. Я был счастлив, что вы хотите... Мне удалось всучить им себя. Под "им" я подразумевал: "мир", "общество", "сосайяти", — что по-русски звучало как сборище тех, которые сосут, хуесосов. У меня было такое впечатление, что я всех их обманул, что на самом деле я никакой не писатель, но жулик. Именно на подъеме, на горячей волне наглости, гордости и мегаломании я и схватил Диану, актрису, бля, не просто так. Актрису кино и теле, снимавшуюся во всяких там сериях, ее узнавали на улицах... По сути дела, если употребить нормальную раскладку, Диана не должна бы была мне давать. Она была из-

вестная актриса, а я — писатель дебютант. Но наглость не только спокойным образом может увлечь и повести за собой массы, но даже может обмануть кинозвезду вполне приличного масштаба и заставить ее раздвинуть ноги. Она не только мне дала, она еще поселила меня у себя на Кингс Род, и возила меня по Лондону и Великой Британии в автомобиле. Следует сказать что я охмурил не только ее, темную красотку с пышными ляжками и тяжелым задом, игравшую истеричек в телефильмах по Мопассану, Достоевскому и Генри Джеймсу, но я обманул еще множество жителей Великой Британии, попавшихся мне на моем пути.

Майкл Горовиц, — английская помесь Ферлингетти с Гинзбергом, с фигурой ленинградского поэта Кривулина (то есть шесть конечностей — две ноги, две руки и две палки) пригласил меня на первые в мире Поэтические Олимпийские Игры. Милейший Майкл и его Британские товарищи желали пригласить вечнозеленых Евтушенко или Вознесенского, но, кажется, в те времена советская власть рассердилась за что-то на Запад, и подарочные Е. и В. не были высланы. Я замещал обоих на Поэтри Олимпикс. Олимпикс заблудились во времени, и вместо хиппи-годов, к которым это мероприятие принадлежало по духу своему, мы все оказались в 1980-м. У меня сохранился зерокопированный номер журнала "Нью Депарчурс", в котором долго и нудно восхваляются преимущества мира перед войной, лав-мэйкинг перед бомбежкой и т.п. Я расходился с Майклом Горовцем и его товарищами в понимании действительности и во взглядах на проблемы войны и мира, но я согласился прочесть свои стихотворные произведения в Вестминстерском аббатстве, попирая ногами плиты, под которыми якобы покоятся английские поэты. Сам архиепископ в красной шапочке представил нашу банду публике и сидел затем, не зная куда деваться от стыда, на хрупком стуле, прикрыв глаза рукою. Самым неприличным по виду был панк-поэт Джон Купер Кларк, буйная головушка поэта была украшена сине-розовыми пучками волос. Джон Купер Кларк напоминал гусеницу поставленную на хвост. Он получил серебряную медаль наглости от "Сандэй Таймс", которая почему-то взялась награждать нас, хотя никто ее об этом не просил. Самым неприличным по содержанию произведений оказался реггаи-певец и поэт Линдон Квэйзи Джонсон. Симпатично улыбаясь, красивый и чистень-

кий черный проскандировал стихи-частишки, каждый куплет которых заканчивался рефреном "Ингленд из зэ бич... та-тата..." То-есть, "Англия — сука..." Может быть именно потому, что каждый рефрен заставлял бедного архиепископа опускать голову едва ли не в колени, и вздрагивать, Линдон Квэйзи Джонсону досталась золотая медаль. Мне журнал "Сандэй Таймз" присудил бронзовую медаль наглости. По поводу моих строк, где говорилось что я целую руки революции, журналист ехидно осведомился, "не оказались ли в крови губы мистера Лимонофф после такого поцелуйчика"? Если вы учтете, что присутствовали представители еще двух десятков стран и что такому старому бандиту как Грегори Корсо (он тоже участвовал!) ничего не присудили, то вы можете понять, как я был горд. Золотая медаль лучше, спору нет, но я впервые вылез на международное соревнование, подучусь еще, — думал я. Плюс — и гусеница-Кларк и реггаи-Джонсон читали на родном — английском, а я на английском переводном.

Я покори́л нескольких профессоров русской литературы, и они начали изучать мое творчество. Я выступил со своим номером в Оксфорде! Я шутил, улыбался, напрягал бицепсы под черной тишорт, плел невообразимую чепуху с кафедр университетов, но народ не вслушивался в слова. Слова служили лишь музыкальным фоном спектакля, основное же действие, как в балете, совершалось при помощи тела, физиономических мышц и, разумеется, костюма и аксессуаров. Огненным, искрящимся шаром энергии, одетым в черное, прокатился я по их сонной стране. Председатель общества "Британия — СССР", — жирный седовласый мэн, плотоядно глядевший на ляжки Дианы, сказал ей, что я шпион... Я излучал такой силы лазерные лучи, что отправившись с Дианой на "одиенс" (режиссер выбирал актрису для одной из главных ролей в новой телевизионной серии), убедил ее в том, что она получит роль, и она ее получила!

В солнечный, хотя и холодный день Диана отвела свою (отныне и мою) подругу, — профессоршу русской литературы, — в красивый и богатый район Лондона — в Хампстэд. Профессорша должна была забрать книги у русской старухи, я знал вскользь, что имя старухи каким-то образом ассоциируется с именем поэта Мандельштама. "Пошли?" сказала профессорша, вылезая из автомобиля и держась еще рукой за дверцу.

"Нет", сказал я, "старые люди наводят на меня тоску. Я

не пойду. Вы идите, если хотите...” Под “Вы” я имел в виду Диану. Вообще-то говоря у меня было желание, как только профессорша скроется, тотчас же засунуть руку Диане под юбку, между шотландских ляжек девушки, но если профессорша настаивает, я готов был пожертвовать своим фингерсеансом, несколькими минутами мокрого, горячего удовольствия ради того, чтобы Алла, — так звали профессоршу, — не чувствовала себя со старухой одиноко.

“Какой вы ужасный, Лимонов”, сказала профессорша. “И жестокий. Вы тоже когда-нибудь станете старым”.

“Не сомневаюсь. Потому я и не хочу преждевременно соприкоснуться с чужой старостью. Зачем, если меня ожидает моя собственная, торопиться...?”

“Саломея вовсе необычная старуха. Она веселая, умная, и ее не жалко, правда Диана?”

“Йес”, подтвердила Диана убежденно и энергично. Она очень интересная...”

“Сколько лет интересной?”

“Девяносто один... Или девяноста два...” Профессорша замялась.

“Кошмар. Не пойду. В гости к трупу...”

“Она сказала мне по телефону что ей очень понравилась ваша книга. Она нисколько не шокирована. Неужели вам не хочется посмотреть на женщину 91 года, которую не шокировала ваша грязная книжонка...”

“Потише, пожалуйста, с определениями...” Я вылез из автомобиля. Они раскололи меня с помощью лесты. Грубой и прямой, но хорошо организованной.

После звонка нам пришлось ждать.

“Она сегодня одна в доме”, шепнула Алла, “компаньенка будет отсутствовать несколько дней”.

Женщина, вдохновлявшая поэта, сама открыла нам дверь. Высокая и худая, она была одета в серое мужское пальто с поясом и опиралась на узловатую, лакированную палку. Лицо гармонировало с лакированной узловатостью палки. Очи в светлой оправе.

“Здравствуйте Саломея Ираклиевна!”

“Пардон за мой вид, Аллочка. В доме холодно. Марии нет, а я не знаю как включить отопление. В прошлом году нам сме-

нили систему. Я и старую боялась включать, а уж эта — новосовременная, мне и вовсе недоступна”.

”Это Лимонов, Саломея Ираклиевна, автор ужасной книги, которая вам понравилась”.

Старуха увидела Диану, лишь сейчас подошедшую от автомобиля. ”А, и Дианочка с вами!”, воскликнула она. И повернулась, чтобы идти в глубину дома. ”Я не сказала, что книга мне понравилась. Я лишь сказала что очень его понимаю, вашего Лимонова”.

”Спасибо за понимание!” фыркнул я. Я уже жалел, что сдался и теперь плетусь в женской группе по оказавшемуся неожиданно темным, хотя снаружи сияло октябрьское солнце, дому. Быстрый и резкий, я не любил попадать в медленные группы стариков, женщин и детей.

Мы проследовали через несколько комнат и вошли в самую обширную, очевидно, — гостиную. Много темной мебели, темного дерева потолочные балки. Запах ухоженного музея. Сквозь несколько широких окон видна была внутренняя, очевидно, общая для нескольких домов зеленая ухоженная лужайка, и по ней величаво ступали несколько женщин со смиренными пригожими детьми.

”Идите сюда. Здесь светлее”. Старуха привела нас к одному из окон, выходящих на лужайку, и села с некоторыми предосторожностями за стол, спиной к окну. стакан с желтоватой жидкостью, несколько книг стопкой, среди них я привычно разглядел свою, пачка бумаг толщиной в палец... Очевидно, до нашего прихода старуха помещалась именно здесь.

Я сел за стол, там где мне указали сесть. Против старой красавицы.

”Вы очень молодой”, сказала старуха. Губы у нее были тонкие и чуть-чуть желтоватые. ”Я представляла вас старше. И неприятным типом. А вы вполне симпатичный”.

Диана положила руку на мое плечо. Сейчас этот женский кружок начнет меня поощрительно похлопывать по щекам, пощипывать и поворачивать, разглядывать. ”Ах вы, душка...”

”Не такой уж и молодой, — сказал я. Тридцать семь. Я лишь моложе выгляжу”.

Почему-то мне хотелось ей противоречить, и если бы она сказала, ”какой вы старый!” я бы возмутился ”Я! Старый! Да мне всего тридцать семь лет!”

"Тридцать семь — детский возраст. У вас все еще впереди. Мне — девяносто один!" Сверкнув очками, старуха победоносно поглядела на меня. "Вам до такого возраста слабò дожить!"

"Ну, это еще неизвестно. Моя прабабушка дожила до 104 лет, и жила бы дольше. Погибла лишь по причине собственного упрямства — желала жить одна, отказываясь переселиться к детям. Плохо стала видеть и однажды свалилась с лестницы, вешаясь в погреб. Умерла вследствие повреждений. А моей бабушке уже 87 лет, так что лет на девяносто и я могу рассчитывать".

"Вашему поколению таких возрастов не видать", сказала она пренебрежительно. "Вы все неврастеники, у вас нет стержня, нет философской основы для долгой жизни", она отпила из стаканчика желтой жидкости.

"У поколения может быть и нет", обиделся я. "Но вы забываете с кем говорите. Я сам по себе".

Рембрадтовский луч солнца из-за спины узко ложился на мое лицо и дальше иссякал в глубине темной гостиной, случайно затронув по пути два-три лаковых бока мебели. Мне захотелось рукою сдвинуть луч, но пришлось отодвинуться от него вместе с высоким стулом.

"Хотите виски?" спросила старуха. "Возьмите, вон видите, за пьяно, столик с напитками. Есть ваше Джей энд Би".

Вот именно в этот момент я ее и зауважал. Точнее несколько мгновений спустя, когда, налив себе виски, я проделал обратный путь к компании, и увидел, что она протягивает мне стакан. "Налейте и мне. Того же самого".

Старуха девяносто одного года, пьющая виски, такая старуха меня разоружила. Я безоговорочно примкнул к ней. Ну, разумеется, в переносном смысле. "Минеральной воды?" подобострастно справился я, увидев среди бутылей на столе воду.

"Нет спасибо", сказала она. "От воды мне хочется писать".

Профессорша и Диана захохотали. Старуха без сомнения служила им моделью. Этакой железной женщиной, которой следует подражать. Ведь если у мужчин есть герои, то есть они и у женщин. Почему бы, то-есть, им не быть...

"Расскажите о Мандельштаме, а, Саломея Ираклиевна?..."

Профессорша взглянула на меня победоносно, как будто бы поняла из моих жестов происшедший только что во мне перелом, взглянула, как бы говоря: "Вот убедились, а ведь не хотели идти, глупец..."

"Ах, я же вам говорила уже, Аллочка, что я его едва помню..." Старуха пригубила Джэй энд Би. "Вы правы, Лимонов, не любя кукурузные гадости, все эти американские "бурбоны"... Я тоже не выношу сладковатых хард-ликерс... Возьмите кракерс, Дианочка..."

"Саломея Ираклиевна оказывается не знала, что Мандельштам в нее влюблен".

"Понятия не имела. Только прочтя воспоминания его вдовы... Натальи..."

"Надежды, Саломея Ираклиевна!"

"...Надежды, я узнала, что он посвятил мне стихи, что "Соломинка, ты спишь в роскошной спальне" это обо мне.

"Соломинка, Цирцея, Серафита..." прошептала профессорша, и гладко причесанные по обе стороны черепа блондинистые волосинки, даже отклеились в волнении от черепа, затрепетали. Профессорша была отчаяннейшая русская женщина, в прошлом пересекшая однажды с караваном Сахару, убежав от черного мужа к черному любовнику, но поэты повергали ее в трепет. В ее квартире я обнаружил двадцать три фотографии модного поэта Бродского. Тщательно обрамленные и заботливо увеличенные. "А какой он был, Мандельштам, Саломея Ираклиевна?"

Диана, телезвезда, ей не потрудились перевести, никто не догадался (а мы перешли, не замечая того, все на русский), однако безошибочно поняла трепет подруги. Когда я открыл рот, намереваясь объяснить ей о чем идет речь, она остановила меня. "Ай ноу, зэтс абает поэт".

"Йа, йа, Дианочка, абает поэт", прокаркала старуха и захватила горсть кракерс. "Какой? Неопрятный, скорее мрачный молодой человек, плюгавый и некрасивый. Знаете, существует такой тип преждевременно состарившихся молодых людей..."

"Плюгавый! Как вы можете, Саломея Ираклиевна..."

"Хорошо, Аллочка, "низкорослый"... Щадя вашу чувствительность, заменим на "низкорослый"... Я помню хорошо лишь один эпизод, случай, как хотите. Сцену скорее... Одну сцену. Это было еще до войны, до первой мировой, разумеется, мы расположились все на пляже: большая компания. Втроем, насколько я помню, мы сидели в шезлонгах, петербургские девушки: Ася Добужинская, она потом стала женой министра Временного Правительства, Вера Хитрово, ослепительная кра-

савица и я... Рядом недалеко от нас возилась в мокром песке вокруг граммофона группа мужчин, они вытащили на пляж граммофон, дуралеи, и корчили рожи чтобы привлечь наше внимание. Среди них был и Мандельштам. В те времена, знаете, дамы не купались, но ходили на пляж..."

"На каком пляже, где, Саломея Ираклиевна, где?" Профессорша трепетала теперь так, как наверное не трепетала во время обратного путешествия с караваном через Сахару. Всего лишь через трое суток после прибытия. За трое суток она успела убедиться в том, что больше не любит черного любовника. И в ней вновь вспыхнула любовь к черному ее мужу.

"В Крыму, если не ошибаюсь... Мы все, хохоча, обсуждали мужчин в группе. "Знаете, Лимонов", почему-то обратилась она ко мне персонально, "обычные женские циничные разговорчики на тему, с кем бы мы могли, как говорят французы "Фэр л'амур". Когда мы перебрали всех мужчин в группе и речь зашла о Мандельштаме, мы все стали дико хохотать, и я вскрикнула, жестокая: "Ой нет, только не Мандельштам, уж лучше с козлом!"

"Ой, какой кошмар! Беденький... Надеюсь, он не слышал... Как вы могли, Саломея Ираклиевна...?"

"Я была очень молода тогда. Молодость жестока, Аллочка. Но он не слышал, я вас уверяю. Мужчины лишь поглядели на нас с крайним изумлением, может быть решив, что мы сошли с ума".

"Так что же он, даже не попытался с вами объясниться, сказать вам о своей любви? Никогда к вам не приблизился?" Профессорша, вернувшись с караваном в свою черную семью, объяснилась матери мужа, призналась в измене, и обе женщины, — маленькая блондинка и черная стокилограммовая мамма, порывав у друг друга в объятиях несколько часов, скрyli историю от мужа и сына, бывшего в отъезде. "Так молча и прострадал беденький. Но почему, почему?!"

"Его счастье, Аллочка, что не признался. Я так своих любовников мучала, кровь из них пила..." Старуха, высокая, привстала на стуле, и оправила, потянув его вниз, мужское пальто. Улыбнулась. "Я, знаете ли, была злодейски красива в молодости, Лимонов. Считалась самой первой петербургской красавицей. ...вышла замуж за богатого аристократа и вертела им как хотела... Он меня боялся, ваш поэт, Аллочка... Мужчины вообще очень гупливы".

Бывшая первая петербургская красавица допила виски. Села. "Я бы не взяла его в любовники. Вот Блок — другое дело. Блок был красивый".

"И если бы даже вы знали, что Манделыштам в вас очень-очень влюблен, Саломея Ираклиевна?"

"Все мужчины вокруг меня были тогда в меня влюблены, Аллочка". Бывшая красавица гордо сжала губы. Сняла очки. "Может быть сейчас это малопонятно", она сухо рассмеялась. "Но уверяю вас, что так это и было. За мной ухаживали блестящие гвардейские офицеры — аристократы... Не меня выбирали, я — выбирала..."

"Да, я понимаю", сказала профессорша растерянно. Однако, где они все, ваши блестящие поклонники? А он сделал вас бессмертной...

...Некрасивый маленький еврей..."

Старуха пожала плечами. Мы помолчали.

"Слушайте", начал я, "Саломея Ираклиевна, я никогда об этом старых людей не спрашивал, но вы особый случай, я думаю, я вас не обижу. Скажите, а что чувствуешь, когда становишься старым. Что с душой и с умом происходит? То есть, каково быть старым? Меня это очень интересует, потому что и меня, как и всех, моя старость ожидает, если голову не сломаю, конечно".

"Вам придется налить мне еще один, последний виски, Лимонов".

Я исполнил ее желание. Пока я это делал, они молчали. Мне показалось, что ни профессорша ни Диана-подружка не одобрили мой вопрос о старости. Нехорошо говорить о веревке в доме повешенного.

"Самое приятное, дорогой Лимонов, что чувствую я себя лет на тридцать, не более. Я та же гадкая, светская, самоуверенная женщина, какой была в тридцать. Однако, я не могу быстро ходить, согнуться или подняться по лестнице для меня большая проблема, я скоро устаю... Я по-прежнему хочу, но не могу делать все гадкие женские штучки, которые я так любила совершать. Как теперь это называют, "секс", да? Я как бы посажена внутрь тяжелого, заржавевшего водолазного костюма. Костюм прирос ко мне, я в нем живу, двигаюсь, сплю... Тяжелые свинцовые ноги, тяжелая неповоротливая голова... В несоответствии желаний и возможностей заключается трагедия моей старости".

Невзирая на то, что бывшая первая красавица сопровождала ответ улыбкой, погода нашей встречи после моего очевидно все же бестактного вопроса испортилась. Рембрандтовские лучи солнца покинули гостиную. Дети и гувернантки ушли с лужайки. Старая красавица сделалась неразговорчивой. Может быть виски все же действовало на нее сильнее, чем на людей нормального возраста? А может быть она просто устала от нас? Профессорша собрала книги, прочитанные старухой, и оставила ей взамен две свежепривезенные. Мы прошли по еще более темному, прохладному, хорошо пахнущему канифолью и лаком дому, к выходу.

"Не меняйтесь, Лимонов. Будьте такой, как вы есть", сказала мне старая красавица и дружески дотронулась палкой до моего черного сапога. "Алочка, Дианочка, заезжайте. Мария возвращается в понедельник, в доме будет теплее и веселее".

Мы уже сидели в автомобиле, когда засовы изнутри защелкнулись.

"Ну, не жалеете, Лимонов, что посетили женщину, вдохновлявшую поэта?", спросила профессорша. Диана повернула ключ зажигания.

Я сказал, что не жалею, что бывшая первая красавица мне понравилась, хотел добавить, что сообщенное старухой открытие, что старится лишь тело, меня ужаснуло, но мотор взревел и мы сорвались с места. Диана водила автомобиль чудовищно: нервно, порывами.

Женщины беседовали о женском на передних сидениях, я же, предоставленный самому себе, стал воображать сцену на пляже. Сидящих в шезлонгах трех рослых красавиц и кучку мужчин вокруг граммофона в купальных костюмах 1911 года. Точных сведений о купальных костюмах того времени у меня не было, потому мое воображение нарядило их в полосатые костюмы Игроков в мяч, такие бегают на известной картине таможенника Руссо. Но моему воображению никак не удавалось переодеть в зебровый купальный костюм Мандельштама. Вопреки моим усилиям он так и прилег на мокрый песок в котелке и черном сюртуке. Маленький гном, он был похож на юношескую фотографию Франца Кафки. Утрированные как карикатуры оба они походили на Шарло*. Шарло, прилегший на

* Чарли Чаплин

мокрый песок, украдкой с обожанием поглядывал на самую красивую красавицу, — грузинского царского рода княжну Саломею. И хохотали, ловя его взгляд, красавицы в шезлонгах. Как и во все времена жестокие Соломинки, Лигеи, Серафиты... Жестокие к маленькому Шарло, но не к "блестящим" (от обилия эплет и портупей?) гвардейским офицерам. Блестящие же гвардейские вели себя из рук вон плохо, и, добившись любви красавиц, приучив их к члену, как к наркотику, бросали красавиц, били их по щекам, трясли как кукол, швыряли в грязь... А красавицы, подползая по грязи, тянулись к их брагетам, то-есть ширинкам, зипперов тогда еще не было...

— Ну не в грязь, положим, сказал я себе. Символически швыряли в символическую грязь... Отвлечшись от своих кинематографических видений, я взглянул в окно. Въехав уже на Кингс-Роад, мы стояли, ожидая зеленого огня. Высокий статный панк с ярко-красной прической а'ля Ирокез, бил по щекам бледную высокую девочку в кожаной крутке и черных трико. У стены аптеки стоял молоденький маленький клерк в полном костюме — жилет и галстук, и взволнованно наблюдал за сценой.



А. Жолковский

ЛИМОНОВ НА ЛИТЕРАТУРНЫХ ОЛИМПИКС (О рассказе "Красавица, вдохновлявшая поэта")

Лимонов, как говорится, работает в литературе давно. Он начал с лирики, где его калибр более или менее признан; прославился "Эдичкой", жестокий жанр которого развивает в целом автобиографическом цикле; выступает с критическими эссе, приобретающими ему новых врагов; пишет рассказы. Рассказы неравноценны, но всегда интересны настойчивыми поисками подлинной цены вещей. Среди известных мне я выделяю "Love", "On the wild side", "Двойника", но особенно "Красавицу, вдохновлявшую поэта". Почему?

Свою жизнь Лимонов часто представляет как цепь растеньяковско-сорелевских побед над соперниками все более высокого ранга. Сначала он превосходит местного харьковского поэта Мотрича, потом московских официальных и неофициальных знаменитостей, после чего обращает взоры на Запад, который предварительно завоевывает в мире фантазии (в "Мы — национальный герой"), а затем до какой-то степени и в натуре. Масштабы его притязаний видны из его презрительного отношения к шестидесятникам, язвительного к Бродскому, снисходительного к Пастернаку, уважительного, но с оговорками, к Маяковскому и по-настоящему восхищенного только к Хлебникову — великому авангардисту и Председателю Земного Шара. Провозглашая свой выход из русской литературы, Лимонов, в сущности, предпринимает еще один, последний шаг из

провинциального гетто — вперед и выше, на мировой литературный Олимп, туда, туда, где зреют гетевские апельсины.

Вся эта самореклама и борьба за место под солнцем — частный случай феномена, известного в теории литературы как *anxiety of influence*. "Страх влияния" заставляет нового автора расчищать себе творческий плацдарм путем символического насилия над литературными предками (вспомним сбрасывание Пушкина с парохода современности футуристами). Характерно поэтому, что рассказ, о котором пойдет речь, начинается с неких "Поэтри Олимпикс" в Лондоне.

Воспользовавшись тем, что "советская власть рассердилась за что-то на Запад, и подарочные Е. и В. не были высланы", Лимонов, опередив ряд западных тяжеловесов, завоевывает неплохую для иноязычного автора бронзовую медаль, а благодаря ей — телекрасотку Диану. Но это лишь разминка. Главный поединок сводит его не больше не меньше, как с Мандельштамом, и победа, нетрудно догадаться, остается за Эдичкой. Почти полная.

Способов организовать встречу с великим пращуром литература разработала множество. Пастернаковский повествователь в "Апеллесовой черте" практически сливается с Гейне, выигрывающим пари у вымышленного поэта Релинквимини, силой вдохновения отбивая его возлюбленную. В "Звоне брегета" Ю. Казакова автор в обличи Лермонтова пытается приблизиться к Пушкину, но поздно — это день дуэли. У Бунина есть рассказ "Жилет пана Михольского", построенный на воспоминании некоего пошляка о том, как Гоголь якобы возавидовал его жилетке с искрой. Битов ("Фотография Пушкина") отправляет своего героя-литературоведа в прошлое на машине времени, но тот, не сумев оказаться с Пушкиным на дружеской ноге, вынужден удовольствоваться ролью его персонажа — маленького человека.

В "Гюи де Мопассане" Бабеля герой-рассказчик покоряет богатую меценатку искусством, проявленным в переводе мопассановской новеллы, скабрезный сюжет которой он благодаря этому осуществляет в действительности. А затем, читая о том, как Мопассан умирал от прогрессивного паралича, он вступает в контакт не только с произведением классика, но и с его жизнью.

В других случаях игра идет исключительно с текстом

предшественника. Сюжет борхесовского "Жюль Мена, переводчика Дон-Кихота" состоит в том, что герой переписывает Сервантеса дословно, но в то же время по-новому. А в пародийно фантастическом рассказе Вуди Аллена "История с Кугельмассом", герой заводит роман с мадам Бовари и вскоре не знает, как от нее отделаться.

Лимонов, верный убеждению, что жизнь подлиннее искусства, выбирает прямой личный контакт. Ему было бы мало чисто литературной атаки на мандельштамовский текст, переживаний по поводу биографии поэта или даже проникновения в нее под видом реального или вымышленного современника. Исключается и фантастика — Лимонов пишет только "правду". Зато идея отбивания женщины у литературного соперника подходит ему как нельзя лучше.

Чтобы совместить противоречивые требования, привлекается мотив Великой Вдовы. В "Эдичке" и других местах Лимонов хвастается дружбой с Лилей Брик и Татьяной Яковлевой-Либерман, что наводит на мысль, не оттуда ли бесконечные пародийные соития соколовского Палисандра со знатными старухами и, в свою очередь, не из "Палисандрии" ли девяностолетняя героиня "Красавицы". Впрочем, для Лимонова важнее, конечно, житейские прецеденты, например, женитьба любимого им В.В.Розанова на Аполлинару Суловой, роковой пассии Достоевского. (Этот сюжет каламбурно продолжил исследователь Розанова Сиявский, женившись на М.В.Розановой.)

Заглавной красавицей становится Саломея Андроникова-Гальперн — "Соломинка" безответно влюбленного в нее в 10-е годы Мандельштама. Оказавшись в Лондоне, Лимонов в обществе секс-бомбы Дианы и ее подруги Аллы, профессорши русской литературы, посещает Саломею. Между ними возникает своего рода симпатия, и за стаканом "Джей энд Би" (она читала "Эдичку" и помнит, что это его любимый напиток!) она рассказывает о том, как она не замечала "плюгавого" Мандельштама, предпочитая ему блестящих гвардейцев-аристократов. Так в первом туре Лимонов завоевывает любовь Дианы, а в финале — внимание некогда прекрасной Саломеи (что в сумме приблизительно равно одной молодой Соломинке), тогда как Мандельштаму, кроме литературных лавров, не достается ничего.

Спортивная злость по отношению к литературному предку отличает рассказ Лимонова от большинства названных

выше (выдержанных в почтительном, т.е. литературно-охранительном, тоне), но к ней дело не сводится. "Красавица" написана на вечную тему 'искусство — любовь — жизнь — смерть' и в этом сходна с "Гюи де Мопассаном". Бабелевский герой противопоставляет себя Казанцеву, переводчику с испанского, знающему все замки в Испании, но никогда там не бывавшему, — безволосому книжному червю, увлеченному идеализмом Дон-Кихота и вегетарианством Толстого. Герой, наоборот, видит в искусстве средство овладения жизнью, в частности, любовью пышнотелой Раисы, и, реализовав мопассановскую эротическую развязку, хотя бы так отмечается под солнцем Франции.

Но искусство для Бабеля — орудие не только жизни, но и смерти: "Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя" (метафора вполне в духе времени — ср. милитаристскую образность Маяковского, и она типична для Бабеля с его комплексом очкарика, силящегося сравняться с красавцами-бандитами и кавалеристами). В ближнем бою это рассуждение помогает герою пронзить душу и тело Раисы, а дальним прицелом готовит финальную реакцию на предсмертные муки Мопассана: "Сердце мое сжалось. Предвестие истины коснулось меня". Истина же состоит в том, что искусству дана власть над жизнью и любовью, но те, в свою очередь, непоправимо чреватые смертью.

В "Справке" Бабель не так серьезен. Там происходит все то же самое, только в обратном порядке. Герой завораживает проститутку Веру вымышленной историей своих сиротских мытарств в качестве сожителя богатых стариков, и она одаряет его страстной, по-сестрински бескорыстной любовью. Хэппи-энд полнейший, но Бабель не был бы Бабелем, если бы в рассказе не нашлось места для смерти. "Церковный староста... Это было украдено у какого-то писателя, выдумка ленивого сердца... Чтобы поправиться — я вдвинул астму в желтую грудь старика, припадки астмы, сильный свист удушья... Старик вскакивал по ночам и дышал со стоном в бакинскую керосиновую ночь... Он скоро умер... Родственники прогнали меня..." Если в "Гюи де Мопассане" за смертью остается последнее слово, то в "Справке" герой заранее отщучивается от нее путем литературной пародии (на "Детство" своего покровителя Горького?).

Еще безоблачнее романтико-модернистская "Апеллесова черта" Пастернака. Искусство с блеском вторгается в жизнь, жизнь благотворно поправляет искусство, все фантазии и метафоры счастливо сбываются... Смерть проходит лишь намеком, чтобы оттенить великолепие происходящего. Завязкой сюжета служит вызов, бросаемый герою (Гейне) его оппонентом, автором поэмы "Кровь" ("Il sangue"), который вместо визитной карточки оставляет отпечаток окровавленного пальца. Но поединок развивается бескровно, а в конце тема дуэли возвращается уже в совершенно легкомысленном ключе; редактор газеты, бесцеремонно использованный Гейне чтобы выиграть пари, хочет с ним стреляться, но узнав, кто он, рассыпается в любезностях.

Лимонов помещает смерть в самый центр композиции. Точнее, не смерть, а старость, но символически он создает недвусмысленное ощущение спуска в подземное царство. Герой не хочет идти "в гости к труп"; квартира Саломеи заперта на множество засовов, погружена в холод и полумрак и пахнет музеем; хозяйка стара и одета в мужское пальто, опирается на узловатую палку... Вершиной сюжета становится ответ старухи на бестактный вопрос Лимонова о старости: "Самое неприятное... что... я по-прежнему хочу, но не могу делать все гадкие женские штучки, которые я так любила совершать... Я как бы посажена внутрь тяжелого, заржавевшего водолазного костюма. Костюм прирос ко мне, я в нем живу, двигаюсь, сплю... Тяжелые свинцовые ноги, тяжелая неповоротливая голова..." (Ранее в рассказе говорилось, что старухино "лицо гармонировало с лакированной узловатостью палки" и что Диане и профессорше она представлялась "этакой железной женщиной". Замечу, что в фольклоре героиня иногда изображается закованной в приросшую к телу броню, и первое брачное испытание героя состоит в том, чтобы ударом меча освободить свою будущую невесту. Можно вспомнить также обручение со статуей в "Венере Илльской" Мериме...). Ответ Саломеи повергает обоих в задумчивость, солнце покидает даже лужайку за окном, гости прощаются и уезжают, причем женщины болтают на переднем сидении машины, а на заднем Лимонов предаётся одиноким размышлениям, заключающим рассказ.

"Хемигуэзевский" сюжет, где герой переживает эмоциональную травму и, выйдя из нее с честью, хотя и не без потерь, остается наедине со своим стоицизмом, характерен для Лимо-

нова (см. "Эдичку", "Love", "On the wild side"). Но в "Красавице" под него подведена богатая архетипическая подоплека. Саломея сродни старой графине из "Пиковой дамы". (Любопытно, что в первом же абзаце "Красавицы" упоминается "рабочий, забравшийся в постель графини".) В обоих случаях преклонный возраст героини (пушкинской графине 87, а Саломее — 91, но бабке Лимонова, как он тут же сообщает, — 87) позволяет перебросить мостик к давним временам и романтическим интригам (Германн: графиня: Сен-Жермен — Лимонов: Саломея: Мандельштам?) и сопоставить век нынешний и век минувший (пушкинская старуха комментирует литературу 1830-х гг., лимоновская — роман Лимонова). Диана и профессорша оказываются в положении Лизы, а Лимонов в роли Германа — российского Растиньяка и предшественника Раскольникова. Недаром он подчеркивает свои преступные наклонности ("я был... нагл, как наконец сделавший крупное 'дело' мелкий криминал"; "...никакой я не писатель, а жулик") и готовность "запускать руку под юбки... пожилым женщинам". И действительно, земной интерес Германа/Лимонова к молодой партнерше служит лишь ступенькой к экзистенциальному рандеву со Смертью, Пифией, сфинксом — андрогинным ("в мужском пальто") носителем загробных тайн. А водолазный мотив погружает все происходящее еще глубже под землю, вернее, под воду.

Хотя внешне разговор о старости огорчителен для старухи, еще сильнее он поражает героя (как невольное убийство графини губит Германа). Вообще, Лимонов и Саломея стоят друг друга. Если он — преступен, а также "жесток" в своем отказе "преждевременно соприкоснуться с чужой старостью", то она "была злодейски красива в молодости", "жестока", а из своих любовников "кровь... пила" (да "и во все времена, жестокие Соломинки, Лигейи, Серафиты" были жестоки к хилым поэтам, но не к гвардейцам, которые, в свою очередь, мучали и "бросали красавиц, били их по щекам, трясли, как кукол, швыряли в грязь").

Мимоходом брошенные слова о кровопийстве очень важны: они укрепляют связь темы жестокости с другими лейтмотивами рассказа и, прежде всего, с акцентом на телесности и смерти. "По поводу моих строк..., что я целую руки русской революции, журналист ехидно осведомлялся, 'не оказались ли

в крови губы мистера Лимонофф после такого поцелуйчика?” Так заранее готовится роковое свидание героя со Смертью. После него Лимонов фактически разлучается с Дианой, хотя до тех пор не переставал программно шарить у нее под юбкой. От упоения собственной ”наглостью” Лимонов приходит к печальной умудренности, которую, подобно Орфею, Данте и другим, черпает в аду.

В этом свете ’победа’ над Мандельштамом оказывается слабым утешением (ср. аналогичный ход у Бабеля). Близко к началу рассказа подчеркивалась телесная природа поэтического успеха: ”Но народ не вслушивался в слова. Слова служили лишь музыкальным фоном спектакля, основное же действие, как в балете, совершалось при помощи тела, физиономических мышц и, разумеется, костюма и аксессуаров”. Однако в заключительном эпизоде, — где рассказчик воображает Мандельштама ”маленьким гномом”, ”прилеглим на мокрый песок в котелке и черном сюртуке”, сравнивает его с фотографией Кафки и с Чарли Чаплиным и задается вопросом, что делает гвардейских офицеров столь ”блестящими” в глазах красавиц (”обилие эплет и портупей?”), — он скорее сочувствует поэту, нежели грубым победителям жизни. То есть, в сущности принимает точку зрения профессорши.

Концовка рассказа эмблематична: ”Высокий статный панк с ярко-красной прической а’ля Ирокез бил по щекам бледную высокую девочку в кожаной крутке и черных трико. У стены аптеки стоял молоденький маленький клерк в полном костюме — жилет и галстук — и взволнованно наблюдал за сценой”. Девушка соответствует Диане и красавицам, швыряемым в грязь, клерк представляет Мандельштама, а панк рифмуется с гвардейцами 11-го года и двумя победителями олимпиады (”Самым неприличным по виду был панк-поэт..., буйная головушка поэта была украшена сине-розовыми пучками волос... Самым неприличным по содержанию был... реггай-певец... /Он/ проскандировал стихи-частушки... /с/ рефреном ’Англия — сука’”). В ком же — панке или клерке — видит себя Лимонов? Симпатии его раздваиваются: как мужчина, он жаждет жизни, силы, успеха, а как тонко чувствующая поэтическая личность, он обречен страдать (ср. ”Эдичку” и рассказ ”Двойник”), наблюдать жизнь и описывать ее, зная, особенно после встречи с Оракулом, что она кончается старостью и смертью.

Естественная в подобных случаях нота упования на сохранность искусства почти не слышна. Но она угадывается, поскольку вера, что написанное пером переживет пишущего и тления убежит, составляет основу сочинительства. И Лимонов, при всем своем настоянии на примате жизни, насыщает текст ссылками на искусство. Он начинает с портретов участников конкурса и "вечнозеленых Евтушенко и Вознесенского"; вводит тему физической хрупкости человека образом хромого поэта Кривулина; представляет нам Диану как актрису, "игравшую истеричек в телефильмах по Мопассану, Достоевскому и Генри Джеймсу"; к описанию темной квартиры привлекает Рембрандта; одевает пляжных кавалеров Саломеи в полосатые трико "Игроков в мяч" Анри Руссо; рисует Мандельштама помесью Кафки с Шарло; и на видном месте располагает собственный роман.

Что касается стихотворения о Соломинке, то оно цитируется лишь вскользь, причем профессорша перевирает строчку "Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита", опуская первую из героинь Эдгара По и подменяя вторую античной Цирцеей, а балзаковскую Серафиту русифицируя в Серафиму. (В авторском тексте фигурируют вполне правильные "Соломинки, Лигейи, Серафиты", но, к сожалению, спутано отчество героини — из Николаевны она превращена в Ираклиевну, как если бы она была дочерью советского литературоведа.) Функция профессорши в том и состоит, чтобы представлять ложный взгляд на вещи (подобно живущему одной словесностью Казанцеву). Она заискивает перед Саломеей, а в доме у нее Лимонов "насчитал 23 фотографии модного поэта Бродского". Ирония усилена контрастом с ее богатым любовным прошлым: сцены в доме-музее перемежаются короткими врезками — перипетиями рискованных метаний Аллы между черным мужем и черным любовником в Черной Африке.

Перевирает слова и Саломея: "Только прочтя воспоминания его вдовы... Натальи... — Надежды, Саломея Ираклиевна! — ...Надежды, я узнала, что ...'Соломинка, ты спишь в роскошной спальне' — это обо мне" /у Мандельштама — "Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне..."/. Старуха, из-за спины которой злорадно выглядывает автор, не дает себе труда помнить престижные имена и цитаты.

Если в тексте "Соломинка" цитируется кое-как, то в под-

тексте ее присутствие представляется мне внушительным. В сущности, три четверти века спустя Лимонов — вольно или невольно — по-своему переписал Мандельштама, пророчески задавшего образ Саломеи как одинокой женщины, заживо похороненной в своей комнате и потому подобной роковым героиням, находящимся на грани живого и мертвого, мужского и женского (ср. общую декабрьскую атмосферу стихотворения, а также черновую строчку: "Что знает женщина одна о смертном часе?"). Кульминационному образу водолазного костюма соответствуют у Мандельштама омут зеркала, ледяная Нева, струящаяся в спальне, и саркофаг. Перекликаются с оригиналом и "темного дерева потолочные балки" (Соломинка ждет, "бессонная, чтоб, важен и высок /.../ На веки чуткие спустился потолок"), а также вампирический мотив питья крови ("Всю смерть ты выпила и сделалась нежней"; "В моей крови живет декабрьская Лигейя").

Таким образом, связь с оригиналом есть, только не выпяченная, а старательно скрытая. Эта подчеркнутая 'нецитатность' хорошо согласуется с общей 'анти-словесной' позицией Лимонова. Но и она неизбежно остается в пределах возможностей, предоставляемых литературой. Там, где Мандельштам учится "блаженным словам", Лимонов стремится постичь предметный ('телесный') урок, даваемый жизнью. Однако в итоге все равно получается Текст, на который, красавица, в молодости вдохновлявшая поэта, состарившись, вдохновляет прозаика.

--- --- ---

Проведенный структурный анализ рассказа может озадачить читателя, уверенного, что кто кто, а Лимонов попросту написал "то, что было". Но одно не мешает другому: факты отлить в законченную форму не легче, чем вымысел. Не во всех рассказах Лимонова "о том, что было", эта задача разрешена одинаково успешно, и лишь в "Красавице" достигнут поистине гроссмейстерский уровень (уж не благодаря ли "соавторству" с Мандельштамом, Пушкиным и Эдгаром По?). Мои восторги не означают, что я не вижу в рассказе недостатков: около десятка шероховатостей и англицизмов могли бы быть отредактированы без ущерба для нарочито вольного лимоновского стиля.

И последнее: по имеющимся у меня сведениям, описанное в рассказе действительно "было". Саломея Андроникова умерла лишь недавно, и Лимонов успел побывать у нее. Реально существуют также "Диана" и "профессорша". Однако не все "было" в точности так, как рассказано, а в рассказ попало не все, что "было". Это знание радует меня не только как подтверждение моих представлений об искусстве, но и как частичная страховка от непредсказуемой реакции Лимонова на мой разбор.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Осип Манделъштам

СОЛОМИНКА

I.

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок
Спокойной тяжестью — что может быть печальней —
На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделала нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей.

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их — такая тишина —
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет не Соломинка, — Лигейя, умирање —
Я научился вам, блаженные слова.

II.

Я научился вам, блаженные слова —
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.

Декабрь торжественный сияет над Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не Соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный, томительный покой.

В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь,
А та соломинка, быть может, Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь.

1916.



Зиновий Зиник

НЕЗВАННАЯ ГОСТЬЯ

Национальное бедствие в октябре мне удалось, как и прежде удавалось, пересидеть за границей. Я услышал по радио про лондонский ураган, предаваясь меланхолии в атлантической бухте под португальским солнцем. Первое ощущение при известии об урагане — самодовольная ухмылка: повезло, я не там, а здесь, провались они пропадом с их ураганами. И тут же — обратный ход пишущей машинки в мозгах: а как же там, как насчет нашей лондонской крыши с гигантскими каштанами напротив? Старый огромный каштан перед моими окнами дышал, казалось бы, на ладан: у него такая тяжелая крона, такой изъеденный рытвинами и дуплами ствол, что мне мерещилось — он может рухнуть сам по себе, от тяжести собственного состарившегося тела. Но выяснилось, что именно у этих старых распутников корни уходят на десятки метров вглубь, в то время как у патриархального и морально стойкого дуба корни стелятся по поверхности; ураган переворачивал его вверх тормашками в два счета — схватив за макушку.

Вид вырванного с корнем дерева ужасен. Вдвойне ужасен, если дерево — гигантских размеров. Ты сражен растерянностью и стыдом, как при виде упавшего на улице пожилого человека. Как будто ты виноват в том, что вовремя не подскочил и не подхватил его под локоть. Как ни странно, ни один из рухнув-

ших великанов не задел рядом стоящих домов. Деревья падали в противоположном от дома направлении. Видимо, стена родного дома меняет направление ураганного сквозняка так, что ветер отбрасывает ствол в сторону от дома.

Ураганного ливня, однако, не удалось избежать и мне в моем меланхолическом далеке (как, впрочем, и в любой точке Европы), но тогда я еще не связывал катастрофическую ночь на берегу Атлантики с ураганом в Англии. Прошлое легко подтасовывать в нечто осмысленное и символически первопричинное постфактум — в свете свершившихся впоследствии катастроф. Пусть катастрофа, но зато — с моральным уроком и руководящими указаниями. А осмысленности в той ранней осени не было. В португальском местечке на атлантическом побережье я оказался совершенно случайно: Варвара фон Любек (из семьи остзейских баронов-белоэмигрантов) предложила мне свою виллу за символические гроши, поскольку ее обычные сезонные постояльцы скончались. Я же согласился, потому что нуждался в отъезде, как змея в сбрасывании старой кожи: трудно сказать, освобождается ли при этом змея от самой себя или просто выбирается из прежних опостылевших обстоятельств?

В тот месяц до меня дошло, наконец, извещение о смерти матери. С точки зрения моих друзей и родственников извещение дошло месяцем позже из-за происков советской власти, перлюстрирующей почту. Те же советские органы были, якобы, виновны и в том, что из Москвы невозможно было дозвониться до Лондона. Лишь прожив в самом Лондоне с десяток лет понимаешь, что почтовая неразбериха и телефонный бардак не всегда спровоцированы злой волей бюрократической системой. Депрессивная абсурдность этих запоздалых похоронок заключалась совершенно в ином: к тому моменту я в конце концов исхитрился сочинить матери открытку — редчайший, за все эти годы, случай, поскольку мои отношения с родителями, вообще говоря, никогда не фиксировались словесно. Открытка была отослана уже мертвому человеку. Впрочем, я, лишенный, как всякий эмигрант, советского гражданства и зачисленный в черные списки, знал, покидая Москву, что никогда никого из близких уже не увижу, и, тем самым, смирился с мыслью, что они для меня как бы уже и умерли. Человек, навечно покидающий родину, воспринимает ее как нечто потустороннее, как

”тот свет” за железным готическим занавесом. И чувство это взаимно: мы здесь считаем их там живыми трупами, они нас — призраками.

Извещение о смерти матери не вызвало у меня никаких чувств, кроме подростковой стыдливости за собственную бесчувственность. Более того, вспоминая ее лицо, голос, жесты, ее замашки, манеры и привычки, я испытывал некое облегчение от сознания того, что уже никогда ее не увижу. Не буду свидетелем ее маленьких семейных хитростей и интриг, ее невероятной болтливости и ее склонности к мелодраматическим жестам; ее манеры всех перебивать и ее беспардонности, ее полной уверенности в том, что все вокруг обязаны ее обслуживать — из-за якобы тяжелейших телесных недомоганий, что не мешало ей, впрочем, тащиться за тридевять земель, если ей вздумалось пообщаться со старой приятельницей или шлендраться по комиссиям, разглядывая безделушки, когда в доме — хоть шаром покати. У меня перед глазами стояла наша обитель, где чашка кофе прикрыта бюзгалтером, а страница в книге заложена капроновым чулком. Ее манера хватать еду пальцами, когда она, появляясь за обедом полуодетая с распущенными волосами, склонялась надо мной и, отчитывая меня за очередное мальчишеское разгильдяйство, теребила свою прическу и роняла в мою тарелку волосы. Вспоминая все это, я прерывисто вздыхал от душившей меня ненависти, и ловил себя на том, что сам этот мой вздох в его прерывистости — уже сам по себе идеологический повтор, имитация ее астматического дыхания. С годами, ненавистные подробности ее облика становились все ненавистней, потому что все отчетливее я узнавал в них самого себя. Все хорошее в нас — от Бога, все дурное — от родителей. Я вздыхал с облегчением: ее смерть избавляла меня от отвращения к самому себе. Если только не наоборот: со смертью родителя все наследство из отвратительных тебе черт, замашек и интонаций переходило в единоличное владение потомку. И никакими уловками от этого наследства не отделаешься. Роковой удел осиротевших двойников.

Я настраивал себя на меланхолический лад классическими соображениями насчет того, что мать — единственное на свете существо, любящее тебя бескорыстно: не за красоту, доброту, душевную широту или талант, а просто так — потому, что ты ее сын, рожденная ею плоть и кровь; с ее смертью,

мол, кончается отпущенная по карточкам земной жизнью норма бескорыстия в любви других к тебе. Однако, все эти меланхолично-есенинские соображения о старушке-матери не помогали: с комком в горле блаженная слеза не подступала к глазам, не проходил зудящий звон в висках, ставших сухими, пергаментными, как у стариков. Ненормальность моего состояния проявлялась в полном смещении смысла и весомости (в моих собственных глазах) самых заурядных поступков: каждое утро я с одинаковой озабоченностью вспоминал, что пора пойти на кухню заварить чай и еще не забыть при этом по дороге покончить жизнь самоубийством. Я не делал ни того ни другого. К концу дня я постепенно впадал в полное оцепенение.

Однажды я потянулся к чашке кофе на столе и на полпути понял, что у меня нет сил до этой чашки дотянуться; я знал, что даже если я до нее дотянусь, мне совершенно неважно будет, дотянулся я до нее или нет. Вдруг стало ясно, что не просто все кончилось — но что, вполне возможно, *ничего вообще и не было*. Время остановилось. И я боялся стронуться. Поза скорби — поза покоя. Потому что любое движение может привести к вовлеченности в другую жизнь, в то время как скорбь есть солидарность со смертью. Живое существо застывает неподвижно, чтобы притвориться мертвым — прикинуться трупом: дожидаться темноты и выползти из общей могилы после расстрела; или, наоборот, вцепиться врагу в горло, когда он отвернулся от тебя, казалось бы мертвого. Я же притворялся мертвым от отвращения к самому себе. Смерть близкого — как зеркало. Вместе со смертью близкого человека укорачивается и твоя жизнь: на то прошлое, что составлено было из твоих с ним общих черт. Тот факт, что я никак не прореагировал на смерть матери, говорил в первую очередь о самоотвращении. Мне захотелось очутиться за границей — вне себя.

--- --- ---

Вилла стояла в двух шагах от берега, обрывом спускающегося к гигантскому пустынному — вне курортного сезона — пляжу. Рифмованный повтор океанского прибоя был слышен в доме в любое время суток, рефреном декламируя ту обнадеживающую для меня мысль, что жизнь продолжается са-

ня, что мое состояние внутреннего оцепенения — не иллюзия.

Незванная гостья явилась под вечер мутного знойного дня. Это был не классический сезонный зной португальского побережья, а знойное марево — предвестник грозы. Все застыло, создавая иллюзию ожидания, и это ожидание в свою очередь создавало атмосферу нервозности. Когда звякнула железная калитка, и она появилась в начале садовой аллейки, я подумал, что на виллу от любопытства забрела местная девчонка-егоза. Мне бросились в глаза баранки косичек, опоясанные шелковой лентой. Она процокала по каменным плиткам тяжелыми кожаными сандалиями.

”Какой вы тут чудесный садик развели. Фиги, если не ошибаюсь? И спелые, между прочим, фиги!” Она стала расхаживать по саду, с хищной зоркостью усматривая всякий съедобный фрукт, попадающийся на ходу. Только тут я заметил старомодную панамку у нее в руках и дешевое, под хиповые шестидесятые, ожерелье — оно гремело костяшками, как будто заглушая скрип ее ревматических суставов и клацканье ее бодренького голоса.

”Простите?” очнулся я, переспрашивая, как это делают англичане, еще незаданный ею по-русски вопрос.

”Серафима Бобрик-Донская”, откланялась она, по-фрейлиновски пригнув коленки. Большие, как пуговицы, глаза глядели не мигая, и как будто сам по себе, как на ниточках, открывался рот, приводя в движение нависающие щечки. Лицо, готовое в любую минуту плаксиво скуксится. Есть такие престарелые тетки с лицом первоклассниц, особенно когда косички баранками свисают по бокам. Уловив недоумение в моем взоре, она снова затараторила. Про то, что она лучшая подруга Варвары фон Любек и, оказавшись неподалеку, решила осмотреть виллу, поскольку будущим летом намерена провести здесь лето с сыном и подыскивает помещение попросторней того, что она снимает сейчас, здесь неподалеку, без сына, хотя, между прочим, это первое лето, когда она проводит летний отпуск без него, без сына, сама по себе. Поскольку она при этом еще успевала жевать сорванные с деревьев ягоды инжира (она упорно называла их фигами), каждое ”с” превращалось у нее в шепелявое ”ш”, с пшнями вместо сына: недаром она все время говорила об отъездах и переездах.

”Я тут в Абуфейре неподалеку устроилась. Восхитительное местечко!” Абуфейра (действительно, неподалеку) была одним из тех чудовищных курортных городков, разросшихся в последние годы, в связи с туристским бумом: над рыбацкими хижинами и грязноватыми улочками старого центра на горке выросли бетонные многоэтажки с балконами. ”Я в старой Абуфейре нашла чудесную комнатуху. Дышу ароматом древней Португалии. Наслаждаюсь за копейки: дешевка невероятная. Мы с вами, англичане, сейчас в авантаже: курс обмена фунта-стерлинга невероятно высок — куй, как говорится, стерлинг, пока горячо, вы много путешествуете?”

Я даже не понял сразу, что ко мне обратились с вопросом. Я, естественно, не ответил. У нее была именно такая манера: сказать что-нибудь, какую-нибудь чушь про себя, а потом переспрашивать. Плохо скрытая уловка: выведать мои привычки и склонности. Такой расчет на ответную откровенность. Главное, не отвечать на вопросы, не давать себя вовлечь в общение, каким бы невинным вопрос ни казался на первый взгляд. Я смотрел на нее, отмалчиваясь, тем взглядом, когда сам не знаешь: твой прищур означает попытку соорудить благожелательную мину на лице или же неумение скрыть распирающую тебя изнутри ненависть и раздражение. Я сидел, не шелохнувшись, в своем кресле, созерцая ее большую стрекозину голову в панамке, ее тонкие ноги в мужских сандалиях; бесцеремонность ее появления и ее манер, столь распространенная в эмигрантских кругах, под этим атлантическим небом была настолько не от мира сего, что превращала ее в фантом. Не хватало только просидеть с ней весь вечер на этом спиритуалистическом сеансе; этот призрак трех эмиграций явно строился на задушевную беседу с соотечественником. Погиб вечер, с прогулкой по атлантическому пляжу на закате, когда потом, в кресле у радио, вполуха слушаешь новости об отдаленных катастрофах, под шум прибоя косясь закрывающимся в полудреме глазом в скучную книгу. Погиб вечер, погибла ночь, погиб завтрашний день, погибло мое отшельническое умиротворение — все погибло, потому что надо сидеть, слушать и кивать в знак согласия этому шепелявому непрекращающемуся тараторящему щебету.

”Я, лично, заядлая путешественница. Я три раза эмигри-

рвала. За годы эмиграции где только не пришлось перебивать. В Синайской пустыне, помнится, нашли крышу над головой под каркасом брошенного в пустыне авто. Проснулись от крика верблюдов. Кругом бедуины кровожадно размахивают палашами: для них ржавый каркас автомобиля тот же престиж, оказывается, что для лондонских нуворишей — новенький роллс-ройс! Вы не через Израиль выехали?” Не найдя ответа в моем окаменевшем, как моисеевы скрижали, лице, она продолжала: ”Я везде чувствую себя как дома. Я интернационалистка. В отличие от наших с вами англикан, я со всеми ощущаю какую-то мистическую родственность. Вы чувствуете мистическую связь с другими народами? Когда я загоревшая, после пляжа, в Англии меня принимают за пакистанку — это у меня от моих украинско-румынских кровей. Кстати, насчет Востока. В Марокко, после войны, мы, беженцы, строили православную церковь. Дерево в Марокко страшный раритет — так мы как детишки: кто картонную коробку приволокет, кто деревяшечку какую где притырит, а то и ящик из-под пива. Так вот: мароканские тамошние мальчуганы обращались ко мне прямо по-марокански, принимали за свою. С моим восточно-европейским выговором мое парле ву франсе звучало совершенно по-марокански. Вы с Варварой фон Любек не у отца Блюда познакомились?” Снова пауза. Но она не смутилась:

”Я со всеми нахожу общий язык. Сошла с автобуса в Абуфейре, и тут же мне предложили комнату. Хозяин дома сказал, что я похожа на португалку — иначе он не предложил бы мне ренту. Я свободно изъясняюсь по-испански, так что португальские корни мне хорошо знакомы. Если бы не их идиосинкретический акцент с этим ”ш” да ”ж” — а еще говорят, что буква ”ж” эксклюзивна только для русского языка, ха! Но зато такое милое семейство, так у них все по-свойски. Прелестная комнатуха с видом на море. Другое окошко выходит, правда, в соседнюю кухню. Хозяева иногда засиживаются допоздна, бывает, — заснуть невозможно. Но зато экономия электричества — не нужна настольная лампочка: лежи себе и читай в кровати, свет из окошка — как солнышко. Конечно, я вынуждена проходить через кухню. Но и тут свои достоинства: всегда можно прихватить что-нибудь — маслинку, там, или кусочек рыбки. Здесь чудесная рыба. Португальцы рыбный народ — вы любите рыбу? Мы с сыном всегда едим рыбу по сезо-

ну. В Лондоне дороговато, но тут в Абуфейре — буквально копейки. Мне, правда, не разрешают пользоваться плитой, но на пляже очень обаятельный португалец жарит на углях океанскую кефаль — или сардину? он иногда разрешает мне пожарить на его углях рыбку-две. В Абуфейре, вы знаете, все набережные заставлены столиками, и рыбаки, такие простые, обаятельные труженники моря, выхватывают сардину буквально из пучины волн и у вас прямо на глазах зажаривают. Дым карамыслом, все фотографируются. Непонятно, правда, зачем фотографироваться — чего особенно экзотичного в жареной сардине? Но, знаете, вдали от дома все самое ординарное кажется экстраординарным. Вы любите полакомиться жареной рыбкой? Если, конечно, экстраординарно? Мой сын, представьте, любит костлявую камбалу — такой у него бзик! Пока я в отлучке, нашел себе, наверное, такую костлявую оторву”.

Последнюю фразу она сказала уже как бы и не мне. Вокруг нее, как будто слышав про рыбу, стали кружить кошки: они тут же распознали в ней свою. Она протягивала им надкусанную ягоду инжира. Кошки бросались к ее руке, вытягивая шеи, но приняввшись, разочарованно отходили. Она, тем временем, постепенно вталкивала меня в дом, наступая на меня, как с ножом в руке, своим речитативом под кошачий аккомпанимент. Я отступал в кухню. Вступив на порог, она тут же указала пальцем поверх моего плеча на кухонную полку. Там красовалась португальская базарная продукция — раскрашенные керамические петухи.

”Гляжу и наглядеться не могу. Меня этот петух размалеванный переносит тут же в милые мне степи Украины или же леса Закарпатья. Летишь, знаете, как у Гоголя, струна звенит в тумане, а снова на землю глянешь: так это ж, батюшки мои, Португалия!” Она стала пересказывать легенду о том, как петух стал национальным символом Португалии: про святого странника, которого обвинили в воровстве и собирались сжечь на костре, но этот пилигрим обратился к Богу, и Бог превратил обглоданные кости на обеденной тарелке у судьбы в живого кукарекающего петуха. Легенда лоснилась страницами замусоленного путеводителя.

”Это я про петухов в путеводителе прочла — удивительная библия фактов, выпущенная весьма почтенной фирмой, где мой сын сотрудничает. У нас в заводе читать друг другу вслух,

читать приходится, главным образом, мне — ну мать, ну что тут скажешь! вы любите читать друг другу вслух? Мой сын сотрудничает транслятором в этой весьма почтенной переводческой фирме, переводит на разные языки неустанно. Но ужин и завтрак всегда в нашем распоряжении. Это скрашивает трудовые будни. Изливаем друг другу душу, болтаем, забыв про все на свете. Ведь это единственные часы, когда можно вдоволь наговориться. Говорю, правда, главным образом, я, старая болтушка”.

Я представил себе этого сына. Как он приходит домой и усаживается за стол на скрипящем стуле. Подтяжки, пятна пота под мышками. Знойный день на закате. Часы тикают. Телевизор работает вполсилы.

”А как насчет что-нибудь пожевать? Я с этими автобусными пересадками совершенно запартовалась: ни крошки, ни граммamuльчика во рту с самого утра”. (В ее речи неожиданно прорывались жаргонные словечки, подхваченные на пересадочных перронах, в вагонах и станционных буфетах ее трех эмиграций, в путанице стран, эпох и поколений). Она смотрела на меня выжидающе своими расширенными базедовыми глазами, от чего лицо ее казалось крошечным. Она была уверена, что я ей предложу поужинать. Только этого не хватало. Мы будем сидеть на закате знойного дня. Стулья будут поскрипывать. Тикать часы. Радио работать вполсилы. Она будет заполнять звенящую пустоту у меня в висках непрерывной белибердой эмигрантских сплетен и прогнозов о будущем России.

Сквозь дверь холодильника, ставшей в этот момент для меня прозрачной, я видел кусок копченого мяса — я мечтал обжарить его с яичницей на ужин — с бутылкой терпкого и тяжелого риохо, не говоря уже о баночке маринованных осьминогов под рюмку медроньи (португальской разновидности граппы). Я облизнул губы. И тут же заметил, какие у нее обветрившиеся, приоткрытые в ожидании губы. Она с громким звуком проглотила слюну.

”Давайте я вам что-нибудь сварганю вкусенькое. Варшавские диссиденты, помню, хвалили мои ленивые вареники. У вас творогу не надеяться?”, потянулась она к дверце холодильника, и дверца, как намагниченная, приоткрылась (старая развалина — старые вещи сентиментальны: их ничего не стоит растрогать — раскрыть настежь), но я бросился, как отечествен-

ный герой грудью на дуло пулемета, и захлопнул дверцу. Пробормотал невнятно насчет того, что я тут не готовлю, питаюсь в местных рестораничках, но сегодня был поздний ленч и вообще ужинать не собираюсь, так что не обессудьте и т.д. и т.п.

"Да вы не беспокойтесь", неожиданно сказала она, хотя я пальцем не шевельнул. До нее, кажется, дошло. "Я забегу в соседнюю кафешку, я заметила тут неподалеку обаятельную стекляшку, не присоединитесь? Аппетит, *мон шер*, приходит во время еды. Если передумаете, милости прошу в эту припляжную заведение", сказала она с игривостью светской львицы и, кокетливо взмахнув сумочкой, загромыхала подошвами тяжелых мужских сандалий по каменным плитам к воротам. Ее тонкие голые ноги в этих сандалиях вызывали в памяти заросли крапивы у крепких колхозных заборов.

Как только звякнула щеколда чугунной калитки, я бросился к телефону, звонить хозяйке дома в Лондон. Варвара фон Любек припомнила Серафиму Бобрин-Донскую с трудом. По ее словам, они могли лишь однажды встретиться на одном благотворительном православном чаепитии в доме им. Пушкина. "Приживалка она, эта Серафима. И сын ее — олух и за маменькину юбку цепляется. Ничего я ей не обещала. Гоните ее взащей", сказала старуха фон Любек и выматерилась напоследок с аристократической отточенностью. С наслаждением, как будто избавившись от ненавистного школьного экзамена, я выпил большой стаканчик жгучей мердоньи. Я испытывал жуткий голод. Отрезал огромный ломоть сырокопченого мяса и стал рвать его зубами, нетерпеливо, заглатывая плохо прожеванные куски, боясь, что она вот-вот вернется. Впрочем, в свете телефонного разговора с фон Любек я отчасти даже ждал ее возвращения — конфронтации с этой бесцеремонной приживалкой. Когда я разоблачу ее вранье насчет ее отношений с фон Любек, будет повод сказать: извините, но в таком случае продолжать наш разговор (нашу встречу) я не вижу никакой возможности. Я представлял себе, как встаю, придерживаясь рукой за спинку стула, в надменном полупоклоне нависаю над столом и говорю: "В виду всего сказанного, продолжение нашего разговора (нашей встречи) я считаю невозможным..." и еще что-нибудь короткое и вежливое, добывающее своей безликостью. "В виду всего сказанного..." В свете предстоящего избавления от доку-

чливого незванного гостя, в висках радостно загудело: от нарастающей убежденности в собственной правоте и предчувствия заново обретенной заслуженной свободы. Судя по всему, состояние депрессии проходило — как всегда из-за непонятного и полуслучайного сцепления малозначительных обстоятельств, незаметно восстанавливающих веру в себя и надежду на будущее. Я вышел на асфальтовую дорожку, ведущую к пляжу: прощипонить — чего моя подопечная делает в темноте?

Стеклянный куб современного заведения на берегу светился изнутри неоновым светом, как бы ускоряя наступление темноты вокруг. Внутри было пусто. Скучающая за стойкой барменша сообщила мне, что заезжая дама вообще ничего не заказывала, а просто завернула в салфетку то, что, согласно странноватому ресторанному ритуалу в Португалии, выставляется заранее вместе со столовыми приборами: самооткрывающиеся баночки рыбных консервов, масло в пластиковой коробочке и суховатая булка — нечто вроде завтрака туриста или закусона при распитии на троих. Вообще говоря, и за эту ерунду надо было платить, но барменша по интуиции решила, что эта побродяжка — моя гостья, и вписала нанесенный урон в бухгалтерию на мой счет. Российское скупердяйство в путешествиях: непременно за чужой счет, никогда не останутся в гостиницах, непременно у друзей, у родственников, вплоть до полужнакомых забытых полужнакомых; и еда, опять же, или припасенная, подтухшая записка из дому или полуукраденная, прикарманенная по случаю, задаром, на халяву.

Снаружи нарастал ветер и небо с последним закатным отсветом стало заволакивать ночными тучами. Одинокий фонарь парашета перед кафе, отраженный гребешками волн, приглашал допрыгнуть, пока не поздно, по этой импровизированной световой лесенке до горизонта. Оттуда шли тучи; они останавливались, зацепившись за вершины гор, и двигались обратно, как будто раздумав эмигрировать. Рыбачий баркас, шхуна или фелюга — бог его знает, как называлось это судно в километре от берега — было лишь ржавым каркасом старой посуды, севшей на мель много лет назад. В ночном освещении этот скелет выглядел романтическим "Летучим голландцем". Я двигался по краю обрыва над пляжем, выискивая в сгущающихся сумерках свою незадачливую самозванку. Я уже злился на нее не

только за то, что она нарушила мое похоронное бдение по самому себе, но и за то, что внушила мне беспокойство своим исчезновением. Наконец, я заметил ее панамку на камнях в том самом тупике пляжа, куда океан выбрасывал с приливом мусор цивилизации. Серафима Бобрик-Донская, явно не замечая в темноте или же гордо игнорируя все эти банки кока-колы и рванные полиэтиленовые мешки (принимая их за местную флору?), уселась перед прибоем, засучив юбку и беспечно болтая своими сандалиями. Она грызла булку, придерживая одной рукой панамку: ветер нарастал.

Немного погодя, она слезла с камней и, осторожно ступая, приблизилась к линии прибоя, как будто к звериной клетке; с совершенно нелепой при такой погоде и в такой час лирической грустью, она стала отрывать кусочки хлеба и бросать их в океан. Кого она кормила? Чаек? Акул? Или тучи? Чем чаще она взмахивала рукой, кидая крошки, тем плотнее стягивались ночные облака, заволакивая чернильное небо. Она сняла туфли и уселась на гальку у самого прибоя. Я уже не различал в темноте ничего, кроме ее белой панамки. И тут ветер донес ее пение. Вначале мне померещилось, что голос этот доносится из кафе, или в одной из вилл на берегу запустили старую надтреснутую пластинку. Жесткое "р", наличие "х" и "ы" и шипящих звуков создают иногда иллюзию фонетического сходства русского и португальского. Но кроме фонетики, я стал различать и слова. Слова были русские. "А годы летят, наши годы, как черные птицы, летят", вытягивала она с подвывом, подражая Клавдии Шульженко — нашей Вере Лин. Я сам, в светских разговорах, любил иногда повторить свою парадоксальную, на первый взгляд, сентенцию насчет того, что нам, эмигрантам, надо было свыкнуться с идеей отсутствия единого прошлого и понять, что *прошлых* много. Однако ее ностальгические экскурсии в эмигрантский фольклор от Сибири до Марокко раздражали меня своей несвязностью друг с другом, хотя сама она при этом не чувствовала никакого раздвоения личности. "А годы летят, наши годы, как черные птицы, летят". Наступила пауза. Она запнулась. То ли дыхания нехватило, то ли она забыла слова, то ли слова эти были унесены прочь порывом ветра. "И некогда им оглянуться назад". Это "назаа-а-ад" прозвучало натянуто, надтреснуто и хрипло. Я был уверен, что слышу уже не пение, а сдвленный плач, почти стон.

Я вернулся обратно на виллу и стал зажигать свет. В лабиринте комнат, годами прилеплявшихся друг к другу, как в детских выклейках самодельных картонных домиков, — ниши, углы и порталы попадались на каждом шагу в хаотическом нагромождении, как будто отраженные расколотым зеркалом. В каждой нише, в каждом уголке и закутке непременно была лампа. Торшеры, ночники, электрические канделябры, плафоны и просто электрические лампочки без абажура высвечивали анфилады комнат с изобретательностью театральной подсветки. Воспринимала ли хозяйка этой виллы жизнь как таинственные театральные подмостки или же просто до смерти боялась темноты, но дом под крышей начинал по вечерам светиться, как один большой абажур. Моя гостя явилась, как мотылек на свет.

”Зря вы, молодой человек, не присоединились к моей разгульной жизни. Такие романтические, эти чудесные португальцы! Пели под гитару чудесные романсы, фаду — очень напоминает нашу цыганщину. Подали мне чудесное рыбное ассорти, с ракушками, мидиями и всякой мясной всячиной. Потом я села на океанском берегу — восхищалась лунным пейзажем. Такие дивные рефлексы на воде!”

”Рефлексы?”

”Ну эти, знаете, лунные зеркальные отображения. Дивные рефлексы!”

Меня передернуло. Луну приплела ради фальшивой романтики — я собственными глазами видел: не было никакой луны — небо сплошь в тучах. Эта эмигрантская манера врать и всем восхищаться. Чтобы оправдать, так сказать, расходы на поездку: уж если мы столько сил угробили, чтобы сюда попасть, все тут должно быть идеально или таковым, по крайней мере, выглядеть. В этом, видимо, и заключается логика оптимистов вообще: в скрытом страхе, что жизненные усилия не оправдаются. И завтрак на траве обернется сухой булкой с сырком на голых камнях в темноте.

”Я, знаете, лягушка-путешественница, но мне, лично-персонально, экзотика ни к чему. Я сама по себе экзотика. У меня в груди”, и она положила маленькую, сжатую в кулачок руку себе на грудь жестом испанских коммунаров: ”у меня в груди — африканские джунгли. Когда финансы поджимают, можно и в Лондоне у себя под перьями открыть свою Португалию.

Главное, тренировать воображение. Возьму бутербродик с мармайтом — вы любите мармайт? мы с сыном обожаем английский мармайт — соленький такой — и на пароходике вниз по Темзе к Гринвичу. Мы весело, порой, проводим вместе ленч. Усядемся под кустом с видом на *клипер Катти Сарк* — вот тебе и тропические джунгли. Дайте мне бутербродик с мармайтом, хороший романчик под кустом в Гринвиче, и Португалия совершенно ни к чему! Я три раза эмигрировала. И я вам скажу: зануды и нытики никому не нужны. Я всегда стараюсь замечать в жизни только хорошее. Вы знаете, боль не запоминается. Обиды тоже. Так, по крайней мере, у меня черепушка устроена. Мне в этом смысле страшно повезло. Я вообще везучий человек. Я за самовнушение. Что подумаете, то и почувствуешь. Я всегда себе говорю: все хорошо, нечего мандражировать и разводить мерихлюндию. Надо зажигать людей своим собственным примером, а не хандрить. И тоска, знаете, проходит. И верится, и плачется, и так легко, легко... как сказал поэт в минуту жизни трудную. Я танцевать хочу, как поет Элиза Дулитл в известном мюзикле. Вы увлекаетесь сценическим искусством?"

С точки зрения сценического искусства, самый подходящий момент ее разоблачить. Или сейчас, или никогда:

"Звонила Варвара. Фон Любек, я имею в виду. Хозяйка этого дома", начал я, откашливаясь и запинаясь. Придерживаясь рукой за спинку стула, я продолжал с напускной небрежностью, полуотвернувшись, надменно глядя сквозь нее на раскрашенных петухов: "Варвара фон Любек, между прочим, ничего не слышала о ваших намерениях насчет аренды этой виллы. Варвара фон Любек вообще вас плохо помнит". Я вдохнул поглубже. Теперь надо сказать: "В виду всего вышесказанного..."

"Да не было у меня никаких намерений", сказала моя гостя с неожиданной хрипотцой в голосе, совершенно не смутившись. Лицо ее осунулось и заострилось. "Пока я не увидела этот дом, у меня и не было никаких намерений. Мне просто захотелось увидеть знакомое лицо — вот я и потащила сюда из Абуфейры. А насчет аренды — эта идея мне потом пришла в голову. Мой опыт эмиграции учит откладывать все до самой последней минуты. Главное в нашей жизни не строить никаких планов и ни на что не надеяться, чтобы потом не было разоча-

рований. Впрочем, моя память вытесняет все дурное. Наверное, потому что боль и неприятности так трудно выдержать сердцу. По крайней мере, моему сердечку. Оно у меня маленькое и часто, знаете, бьется так, бьется. Пульпитации. Вы не жалуетесь на пульпитации?”

Эти чеховские *пульпитации* совершенно dokonали меня своей бесцеремонной сентиментальностью. Это был эмоциональный шантаж. Долго еще суждено нам, российским людям, выдавливать из себя по капле Чехова. “Знаете, мое сердечко екает от шума прибора. Шум прибора, запах травы, белизна кучевых облаков — это все в каждой стране разное, но одновременно и неизменное: напоминает прибор, траву и облака твоей родины. Я совершенно хмелею от ностальгии, когда слышу шум прибора, а потом поглядела на часы — боже, так ведь все автобусы давно перестали ходить! Вот вам и расчеты на будущее...”

Я знал, что этим кончится. Она, якобы, не подозревала, что автобусы кончают ходить в Португалии в такую рань: ведь испанская культура — культура сиесты и ночных карнавалов. Днем спят, а по ночам ездят на автобусах с карнавала на вернисаж. Впрочем, в такой гигантской гасиенде (“Бунгало. Не гасиенда, а бунгало”, поправил ее я) непременно найдется для нее закуток, уголок, ассилиум? На одну только ночь? Она три раза эмигрировала и привыкла к самому минимуму бытовых удобств. Она может прикорнуть на диванчике вон в том углу, или же прямо на циновках. Вспомним вагоны беженцев из оккупированного Парижа в Маракеш под грамфонную пластинку из “Кассабланки”. А до этого, с интернированным мужем на шарашке — уборщицей: венник, бывало, под голову, и на учрежденческий шкаф на боковую. Она может чудесно прикрыться “шотландским плэдом или, вот, старым пальтишко”. Она спит, как мышка. Ей нужно, как Сталину (“Это шутка”, хихикнула она) всего несколько часов сна, с рассветом и следа ее не будет. Она жалостливо глядела на меня своими стертými поговицами глаз.

Я оставил ее один на один с холодильником допивать чай без меня — мое сопротивление было окончательно сломлено. Она пила чай по-деревенски, из блюдца, по-старушечьи сгорбив спину, и дула на него, как будто отгоняя нечисть, скопившуюся по краям блюдца. Я слышал, как она проклацкала в своих

кожаных сандалиях в одну из комнатушек. "Посижу у себя в закутке, полистаю словарик, подучу новые словечки по-португальски. С моим знанием испанского, португальский — как украинский для русских. Новый язык в будущем никак не помешает". Если она и вела себя по ночам, как мышка, то, явно, как мышка неугомонная. Я ворочался, вслушиваясь в непрерывное шебуршание, перестуки и перезвон в другом конце дома. Она, судя по всему, стала мыть посуду в кухне, пытаюсь услужить мне, или же принялась перебирать вещи в своем саквояже, раскидывая предметы по полу; или же решила убрать дом, с грохотом передвигая мебель, а может быть, просто бродила по комнатам ради любопытства, полагая, что я крепко сплю.

Заснуть я, в действительности, толком не мог. Ворочался. В полубреду полудремы я оказался между двух зон, неясно где пролегающих — внутри меня или вовне. Надо было застыть, не шелохнувшись, чтобы не дрогнул ни единый мускул, ни единый волосок не шевельнулся: иначе соскользнешь в другую зону, там, где все кишмя кишело, где все дергалось и прыгало, толкалось и царапалось. Я не был уверен, что это было такое, но знал точно: стоит чуть ошибиться, позволить себе малейший ложный шаг — и состояние вечного покоя нарушено, тут же скатишься туда, вовне и вниз, и уже не вырваться из этой непрекращающейся схватки, стычки, конфликта, утомительного до головной боли своим бесконечным балетным повтором. Я сжался, чтобы не соскользнуть в этот нагой и трепещущий хаос. Он стал скукоживаться у меня на глазах и ограничился, наконец, моим животом. Нельзя было ни на секунду расслабить мускулы вокруг пупка. Там, внутри, билось, царапалось, молотило кулаками и дрыгало всеми членами нечто, носившее имя Серафимы Бобрик-Донской. Она пыталась вырваться наружу: освободиться от меня, от моей оболочки.

Когда я окончательно выбрался из этой полудремы-полубреда, до меня дошло, что я мучаюсь страшными резами в животе. Я, видимо, отравился; или нет, скорее всего, сказывалась та жадная поспешность, с какой я уничтожал сырокопченный окорок, заглатывал его непрожеванным, пока моя незваная гостья разгуливала по пляжу. Боль была тошнотворная, дергающая, как за ниточки, изнутри. Я заскулил, сжав зу-

бы и забиваясь в подушку от корч и колик. И тут же, как будто эхом донеслось с другого конца дома полупение-полузавывание моей полуночницы. Так, по крайней мере, казалось мне, когда я двинулся из своей спальни в залу: так напевают про себя сумасшедшие — с атональными завихрениями и бессмысленными интонационными скачками, без начала и конца, тихо-нечко и осторожно, как будто выстраивая сложную и прекрасную, как им самим кажется, мелодию. Неожиданно, на лицо мое, неведомо откуда, сверху, брызнула струйка воды, как будто некто сверху испражнялся, встав на крышу, а может быть — пытался привести меня в чувство.

И сразу же выяснился источник этих маниакальных звуков и мелодий, шуршания, шебуршения и перестука. Гигантский приземистый дом раскачивало шквалами ветра. Сквозняк разгуливал по бесконечным нишам, коридорчикам и закоулкам дома, присвистывая и подвывая, как будто пытался успокоить больной зуб хождением взад-вперед. В неожиданном жесте беспричинного раздражения сквозняком опрокинуло неустойчивый самодельный торшер, и вместе со вспышкой лопнувшего плафона за оконными стеклами сверкнула молния. Посреди залы стояла Серафима. Из-под рукавов дешевенького ночного халатика торчали ее голые локти с дрябловатой кожей, ее косички-баранки были распущены перед сном; из-за лысеющей макушки эти патлы вокруг головы делали ее похожей на взбалмашенного университетского профессора. Задрезбалало от грома оконное стекло, где высветились согнувшиеся под ветром фиги, осыпавшиеся градинами плодов, и эхом оконному дребезжанию заструилась апрельской каплейю из-под крыши еще одна струйка воды. Ей отозвалась журчащая трель из соседнего угла.

Приземистый и крепкий дом — воплощение слегка эксцентричного и несколько нелепого, но все же уюта, некоей доверительной, в своем архитектурном наплевательстве, уверенности в благожелательном отношении к нему со стороны сил природы, — как будто приветственно приподнял шляпу перед угрюмыми небесами, впуская непогоду. Крыша этого дома оказалась вся в дырах, как старая панамка. Серафима Бобрик стояла посреди залы, со светящейся соцреалистической улыбкой на лице, вытянув руки вверх, к струям дождя, похожая на героиню сталинского фильма про весну социализма. Я подумал, что

она окончательно рехнулась от грома, молнии и всеобщего ужаса земного существования. Я бросился на кухню за кувшинами, тазами — любой посудиною и тряпками, чтобы остановить наводнение. Моя незванная гостья, тем временем, засучила, в буквальном смысле, рукава и принялась за работу. Она сворачивала ковры и отодвигала диваны с креслами, выжимала намокшие тряпки и опустошала беспрестанно наполняющиеся тазы и ведра. Лицо ее вдохновенно сияло. Теперь я понимал почему: наступил час испытаний, когда ясно, что одному мне не справиться. С каждым мгновением она обретала все большую уверенность в себе. Она, в отличие от меня, знала, что делать. С ведром и тряпкой в руках, она распорядилась. У меня застыла в памяти ее спина: она стояла на коленях и вытирала гигантскую дождевую лужу на полу, выжимая тряпку над ведром. Вверх и вниз ходили ее локти, взмокшие патлы волос прилипли к затылку, а по голой шее текла струйка пота. Поднявшись в очередной раз, чтобы опустошить переполненное ведро, она оглядела меня с победным блеском собственной правоты в глазах: она продемонстрировала, что ее появление в доме оказалось не напрасным.

”Дождю конца не видно — а значит и ее пребыванию здесь. Не выгонять же ее завтра с утра в такую погоду на улицу?” с тоской подумал я, вслушиваясь в шум ливня и в астматический присвист ее одышки.

Она как будто угадала эту потайную мысль у меня на лице, и охнула, как от объяснения в любви — схватившись за сердце. Коленки у нее подкосились, она стала оседать, склоняясь вбок. Я подхватил ее за талию, и, как будто в нелепом бальном танце (до этого я боялся к ней прикоснуться), повел ее к кушетке. Она вздрагивала и жмурилась от грозových вспышек за окном, нагло фотографирующих нас, обнявшихся, как тайные любовники, среди разрухи и раззора недавнего домашнего уюта, среди луж на полу, где пленка воды покрывалась рябью сквозняка. Стены как будто исчезли: мы находились среди театральных декораций атлантического пляжа. Но на этот раз ей, явно, было не до дешевого актерства: лицо ее вдруг стало покрываться мучной пылью, белея с носа; сквозь приоткрытые сморщившиеся губы прорывался астматический свист. Grimаса улыбки не сходила с губ, как будто ей было мучительно трудно сменить выражение лица. У нее был явно сер-

дечный приступ, предынфарктное состояние, или что-то в этом роде, явно что-то с сердцем, а что может быть с сердцем, как не предынфарктное состояние? Я запаниковал, бросился к телефону, но от телефона было мало толку в такой час и в такую погоду, в таком городишке, где чеховскому доктору только и остается, что хлестать мердонью, зажевывая ее сырокопченым окороком.

Чтобы добраться от нашей виллы на берегу до центра с медпунктом, надо было пересечь небольшую долину, овраг. По бокам каменистой дороги росли коренастые оливы, плывущие серебристыми купами с библейским верблюжьим спокойствием в вихре и путанице дождя, грозových всполохов и редких фонарей. Их свет качался наверху, как поплавок, в потоках воды, и еще всю дорогу в окружающей мгле мерцали угольками загадочные огоньки; лишь заслышав случайный полувизг-полумяуканье у заборов, я догадался, что это глаза бродячих кошек под навесами сараев следили за моим продвижением, как конвой, готовые поднять тревогу при малейшем проявлении моей моральной нестойкости или попытке уклониться от намеченной цели. Хотя дорога почти сразу шла в гору, я поначалу не чувствовал своей ноши: в моих руках она, казалось, весила легче своего халатика в мелкий цветочек. Я пытался вспомнить какой-нибудь местный эквивалент слову "валидол" (валокордин? валиум?), но она мешала мне сосредоточиться, продолжая свой вдовый астматический щебет, как будто пытаюсь заглушить то ли стиральную машину небес, то ли собственное сердечное замешательство:

"Я снимаю комнатушку на горе. Обрато тяжело ват с моей астмой взбираться. Но зато по утрам, такое наслаждение, сбежать с горы подземными ходами к морю. Вы знаете, там такие каверны знаменитые, туннели – горными потоками прорытые. Весенними ручьями. Потоки все пересохли, но проходы остались. Благодаря этим подземным кавернам можно в обнаженном виде по утрам мигом оказаться в бухте. Здесь nudism не воспрещен законом, вы знаете?" Я представил ее сбегающей к морю в голом виде. Пучки волос на голове развеваются. Плоть колышется. "Но я позволяю себе эту экстравагантность, потому что на этот раз у меня вакасия без сына". Она закусила губу и прерывисто задышала. Вдруг, вцепившись

судорожно в мою руку она зашептала, нарушив все барьеры интимности между нами: "Ну каков подлец, а? мать бросить на дороге, вообразите?" Я не понимал, к кому она обращается. Судя по всему, ни к кому. Но все, что она говорила, я тут же с испуга принял на свой счет.

Она вдруг стала страшно тяжелой. Левое плечо у меня запыло, и мне пришлось остановиться под очередной оливой, чтобы перехватить ее, как неудобный чемодан, в другую руку. Тут, в свете фонаря, я и заметил, как на ее груди сквозь халат стало проступать и расплзаться багровое пятно крови. Или это был лишь странный отсвет фонаря? В панике я опустил на колени, стал расстегивать халат, соображал, откуда оторвать клочок ночной рубашки взамен бинта для перевязки... и наткнулся на твердый комок у нагрудного кармашка. Она смотрела мимо меня; пуговицы ее глаз сдвинулись косо, как будто пришитые в неправильном месте. В кармашке халата оказалась перезревшая фига: случайно раздавленная мясистая багровая плоть плода расплзлась в кровавую слизь. Я вдруг понял смысл выражения: фига в кармане.

"Так и сказал: ты мне, мать, осточертела. Я тебя бросаю на произвол судьбы. Найди себе кого-нибудь еще третировать — со своими тремя эмиграциями! Бросил меня с сумочкой у выхода из аэропорта, деньги все крупные отобрал, оставил сугубый минимум, обратный билет через две недели. В чужой стране. Опять я, получается, экспатриотка? В кармане сплошные медяки", забормотала она плаксиво. "У меня пульпитации. Я совершенно одна, я совершенно никому на свете не нужна. Куда же мне теперь брести? Опять три раза эмигрировать? Когда я, в свое время резидент тоталитарного режима, мечтала о побеге к свободе, я представляла себе такой необычный, ни на что не похожий мир света и экстаза. Мне так хотелось, чтобы все в моей жизни было необычно — даже смерть. Я бежала от общей — как и все при коммунизме? — могилы, да. Но сейчас, с вами, мне даже как-то сладко от этой мысли — меня осенило: а ведь можно начать жизнь сначала, без всяких там мерхлюндий? У меня теперь масса свободного времени, я совершенно теперь независимое существо. Я, к примеру, могу устроиться поваром, я, знаете, большая кулинарка. Могу готовить чудесный гуляш, один из моих супругов был бывший венгр, вы знаете? Был гулаг, стал гуляш". Grimаса исказила

ее лицо, и непонятно было, кривая ли это улыбка иронии, судорога плача или острая боль в сердце. Я предложил ей немного помолчать — себя пожалеть. Но она не затихала: "Как же так: я говорю на языках чуть ли не всех людей на свете, а под конец жизни не оказалось рядом ни одного близкого человека?"

Она вновь становилась все легче и легче в моих руках. Постепенно она совершенно затихла, лицом напоминая спящую. Мне стало страшно, что я не донесу ее живой до больницы. Я погружался все глубже и глубже по невидимой дорожке во вздыбленную ураганым дождем географию чужой мне долины. Я вспомнил: точно так же хлестал ливень в лицо, когда мать тащила меня в колхозную больницу, километрах в десяти от дома. Она тащила меня на спине, по размытой проселочной дороге, сквозь месиво чавкающей грязи, астматически задыхаясь, а может быть от того, что я цеплялся за ее шею от страха, боли и стыда. Я помню ее слипшиеся на затылке волосы и струйку дождя, скользящую по ее шее за вырез платья. Ей было тяжело: мне было уже лет шесть, я был здоровенным мальчишкой. Это было в поселке под Москвой, где мой дед работал главврачом. Мы с приятелями забрались накануне в колхозный сад и наворовали там мешок яблок. Яблоки были маленькие и жесткие, размером в фигу, зеленые и незрелые — вызвали страшную оскомину; но мы упорно, с неистовством жевали их, соревнуясь друг с другом в энтузиазме: потому что это были бесплатные яблоки, мы нажирались яблоками на халяву, они были дарованные, они были богом дарованные и потому отказаться от них было нельзя. К вечеру у меня начались колики, а к полуночи я уже дергался в страшных корчах. В полудреме-полубреде мне казалось, что я должен застыть так, чтобы не дрогнул ни единый мускул, потому что любое движение выдаст меня с головой, и я никогда не выберусь за ворота сада. Горячка была вызвана всего лишь расстройством желудка, но мама была уверена, что у меня приступ аппендицита. Я боялся сказать, что у меня все и так само собой пройдет. Тогда бы мама поняла, что я знаю, от чего у меня боли в желудке, и мне пришлось бы рассказать про ворованные яблоки. Я предпочитал отмалчиваться. Она решила срочно нести меня в больницу. Больницы я боялся, но еще больше боялся рассказать

про ворованные яблоки. Я не хотел, чтобы меня, пионера, считали вором. Я продолжал делать вид, что у меня приступ аппендицита. До больницы надо было тащиться по размытой ливнем проселочной дороге. Сам идти я не мог из-за страшных колик в животе. Мама вышагивала в кромешной тьме по чавкающей грязи, сгибаясь под тяжестью моего тела. Она задыхалась. У нее, казалось, вот-вот начнется астматический приступ.

"Я вижу просвет", донесся до меня голос моей подопечной. "Свет?" переспросил я. Я явно воспринял ее слова в слишком возвышенном религиозно-метафизическом духе. Какой еще свет в такие потемки? "Да нет, я вижу просвет в облаках. Дождь скоро перестанет, и будет ясное ночное небо. Я смогу уехать на автобусе в Абуфейру".



ВЫХОДИТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ!
Обращаться в русские книжные магазины
и по адресу:

O. Prokofiev,
12 Eliot Vale, London SE3 OUW, England.

СВОБОДУ ПУШКИНУ!

Тимур Кибиров

ПОСЛАНИЕ ЛЕНКЕ И ДРУГИЕ СОЧИНЕНИЯ (1990)

I

СЕРЕЖЕ ГАНДЛЕВСКОМУ. О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ НЫНЕШНЕЙ СОЦИО-КУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ.

Марья, бледная как тень, стояла тут же, безмолвно смотря на расхищение бедного своего имущества. Она держала в руке ** талеров, готовясь купить что-нибудь, и не имея духа перебивать добычу у покупателей. Народ выходил, унося приобретенное. Оставались непроданными два портретика в рамах, замаранных мухами и некогда вызолоченных. На одном изображен был Шонинг молодым человеком в красном кафтане. На другом Христина, жена его, с собачкою на руках. Оба портрета были нарисованы резко и ясно. Гирц хотел купить и их, чтобы повесить в угольной комнате своего трактира, потому что стены были слишком голы...

А. С. Пушкин.



Ленивы и нелюбопытны,
бессмысленны и беспощадны,
в своей обувке незавидной
пойдем, товарищ, на попятный.

Пойдем, пойдем. Побойся Бога.
Довольно мы поблатовали.
Мы с понтом дела слишком много
взрывали, воровали, вдали

и веровали... Хва, Сережа.
Хорош базарить, делай ноги.
Харэ бузить и корчить рожи.
Побойся, в самом деле, Бога.

Давай, давай! Не хлюпай носом,
не прибедняйся, ёксель-моксель.
Без мазы мы под жертвы косим.
Мы в той же луже, мы промокли.

Мы сами напрудили лужу
со страха, сдуру и с устатку.
И в этой жиже, в этой стуже
мы растворились без остатка.

Мы сами заблевали тамбур.
И вот нас гонят, нас выводят.
Приехали, Сережа. Амба.
Стоим у гробового входа.

На посешок плесни в стаканчик.
Монатки вытряхни из шкапа.
Клади в фанерный чемоданчик
клифт и велюровую шляпу.

И дембельский альбом, и мишку
из плюша с латками из ситца,
и сберегательную книжку,
где с гулькин нос рублей хранится,

ракушку с надписью "На память
о самом синем Черном море",
с кружком бердовым от "Агдама"
роман "Прощание с Матерой".

И со стены сними портретик
Есенина среди березок,
цветные фотки наших деток
и грамоту за сдачу кросса,

и "Неизвестную" Крамского,
чеканку, купленную в Сочи...
Лет 70 под этим кровом
прокантовались мы, дружочек.

Прощайте, годы безвременщины,
Шульженко, Лещенко, Черненко,
салатик из тресковой печени
и Летка-енка, Летка-енка...

Присядем на дорожку, Зёма.
И помолчим... Ну всё, поднялись.
Прощай, 101-й наш километр,
где пили мы и похмелялись.

И мы уходим, мы уходим
неловко как-то, несуразно,
скуля, и огрызаясь грозно,
бессмысленно и безобразно...

Но стоп-машина! Это слишком!
Да, мы, действительно, отсюда,
мы в этот класс неслись вприпрыжку,
из этой хавали посуды,

да, мы топтали эту зону,
мы эти шмотки надевали,
вот эти самые гондоны
мы в час свиданья разорвали,

мы все баклуши перебили,
мы все в бирюльки проиграли...
Кондуктор, не спеши, мудила,
притормози лаптею, фраер!

Ведь там, под габардином всё же,
там, под бостоном и вагином,
сердца у нас, — скажи, Сережа, —
хранили преданность Святыням!

Ведь мы же, как-никак, питомцы
с тобой не только Общепита,
мы ж, ёксель-моксель, дети солнца,
ведь с нами музы и хариты,





Феб светозарный, песнь Орфея —
они нас воспитали тоже!
И, не теряясь, не робея,
мы в новый день войдем, Сережа!

Бог Нахтигаль нам даст по праву
тираж Шенье или Гумилева,
по праву, а не на халяву,
по сказанному нами слову!

Нет, все мы не умрем. От глена
хоть кто-то убежит, Сережа!
"Рассказ" твой строгий — непременно,
и я, и я, быть может, тоже!

Мы ж сохранили в катакомбах
завет священный Аполлона,
несли мы в дол советский оба
огонь с вершины Геликона!

И мы приветствуем свободу,
и наострили наши лиры,
чтоб петь свободному народу,
чтоб нас любили и хвалили.

С "Памира" пачки ты нисходишь,
с "Казбека" пачки уношусь я,
и, "Беломор" минуя с ходу,
глядим мы на "Прибой". Бушуй же!

Давай, свободная стихия!
Мы вырвались!.. Куда же ныне
мы путь направим?.. Ах, какие
подвижки в наших палестинах!

Там, где сияло раньше "Слава
КПСС", там "Кока-кола"
горит над хмурою державой,
над дискотеккой развеселой.

Мы скажем бодро: "Здравствуй, племя
младое, как румяный персик,
ню дженерэйшен, поколение
навек выбравшее "Пепси"!

Ты накачаешься сначала,
я вставлю зубы поприличней.
В коммерческом телеканале
мы выступим с тобой отлично.

Ну, скажем, ты читаешь "Стансы"
весь в коже, а на заднем плане
я с группой герлс танцую танец
под музыку из фильма "Лайнер".



Кадр следующий — мы несемся
на мотоциклах или на яхте.
потом реклама — "Панасоник".
Потом мы по экрану трахнем

тяжелым чем-нибудь... Довольно.
Пойдем-ка по библиотекам!
Там будет нам светло и вольно,
уж там-то нас не встретят смехом.

Там по одежке нас встречает
старушка злобная шипеньем.
И по уму нас провожают
пинком за наши песнопенья.

Там нашу зыбкую музыку
заносит в формуляры скука.
Медведь духовности великой
там наступает всем на ухо.

Там под духовностью пудовой
затих навеки вертлявый Пушкин,
поник он головой садовой —
ни моря, ни степей, ни кружки.

Он ужимается в эпитафю,
забит, замызган, зафарцован,
не помесь обезьяны с тигром,
а смесь Самойлова с Рубцовым.



Бежим скорей!.. И снова гвалтом
нас встретит очередь в "Макдональдс",
"Интересуетесь поп-артом?" —
Арбат подвалит беспардонный.

И эротические шоу
такие нам покажут дива —
куда там бедному Баркову
с его купчихой похотливой!

Шварцнегер выйдет нам навстречу,
и мы застынем холодея.
Что наши выпренные речи
пред этим торсом, этой шеей?

И в общем-целом, как ни странно,
в бараке мы уместней были,
чем в этом баре разлитом,
на конкурсе мисс Чернобыля...

И ничего не остается,
лишь уголь пылающий, чадающий.
Все чертовым жерлом пожретя.
В грядущем, прошлом, настоящем

нам места нет... Проходят съезды.
Растут преступность, цены, дети...
Нет, не пустует свято место —
его заполнили черти.

Но если птичку голосисту
сдавили грубой пятернею,
посмей хоть пикнуть вместо свисту!
Успей же, спой же, Бог с тобою!

Жрецам гармонии не можно
пленяться суетой, Серега.
Пусть бенкендорфно здесь и тошно,
но все равно — бойся Бога!

Пой! Худо-бедно, как попало,
как Бог нам положил на душу!
Жрецам гармонии не пристало
безумной черни клики слушать.

Давай, давай! Начнем сначала.
Не придирайся только к рифмам.
Рассказ пленительный печальный.
Ложноклассические ритмы.



Вот осень. Вот зима. Вот лето.
Вот день. Вот ночь. Вот смерть с косою.
Вот мутная клубится Лета.
Ничто не ново под луною.

Как древле Арион на бреге
мы сушим лиры. В матюгальник
кричит осведовец. С разбега
ныряет мальчик. И купальник

у этой девушки настолько
открыт, что лучше бы, Сережа,
перевернуться на животик...
Мы тоже, я клянусь, мы тоже...



II

УСАДЬБА

Теперь я живу дома, я хозяйка, и ты не согласишься, какое это мне истинное наслаждение. Я тотчас привыкла к деревенской жизни, и мне вовсе не странно отсутствие роскоши. Деревня наша очень мила. Старинный дом на горе, сад озеро, кругом сосновые леса, все это осенью и зимою немного печально, но зато весной и летом должно казаться земным раем. Соседей у нас мало, и я еще ни с кем не видалась. Уединение мне нравится на самом деле, как в элегиях твоего Ламартина.

А.С. Пушкин.

Ну, слава Богу, Александр Викентьич!
Насилу дождались! Здорово, брат!..
А это кто ж с тобой? Да быть не может!
Петруша! Петр Прокофьич, дорогой!
Да ты ли это, Боже правый?! Дочка!
Аглаюшка, смотри кто к нам приехал!
Ах, Боже мой, да у него усы!



Гвардеец, право слово!.. Ну, входите, входите же скорее!.. Петя, Петя! Ну вылитый отец... И, чай, уже такой же сердцеед? О, покраснел! Ну не сердись на старика, Петруша. Так значит, все науки превзошел... Аглаюшка, скажи, чтоб подавали... А мы покамест суть да дело — вот, по рюмочке, за встречу... Так... Грибочком ее... Вот этак... А? Небось в столицах такого не пивали? То-то, братец! Маркеловна покойная одна умела так настаивать... Что, Петя, Маркеловну-то помнишь? У нее ты был в любимцах. Как она варенье варить затеет — ты уж тут как тут и пеночки выпрашиваешь... Славно тогда мы жили, господа... И что ж ты делать собираешься — по статской или военной линии? Какое ты поприще, Петруша, избереешь? А, может, по ученой части? А? Профессор Петр Прокофьев сын Чердынцев? А что?!.. Но если правду говорить, ты принялся б хозяйствовать, дружок. Совсем ведь захирело без присмотра именье ваше... Ну-с, прошу к столу. Чем Бог послал, как говорится... Глаша, голубушка, вели еще кваску... Именьице-то славное... Отец твой, не тем помянут будь, пренебрегал заботами хозяйственными, так он и не привык за 20 лет. Но Марья Петровна — вот уж истинно хозяйка была — во всё сама входила, все на ней держалось. Шельмеца Шварцкопфа, именьем управлявшего, она уже через неделю рассчитала. Подрядчики уж знали — сразу к ней... А батюшка все больше на охоте... Да... Царствие небесное... А я б помог тебе на первый случай, Петя... Да вот и Александр Викентьич тоже... Его теплицы славятся на всю

Россию, а теперь и сыроварню голландскую завел... Грешно ведь, Петр. Гнездо отцов, как говорится... Мы бы тебя женили здесь — у нас-то девки покраше будут петербургских модниц. Да вот Аглая хоть? Чем не невеста? Опять же по соседству... Александр Викентьевич, любезнейший, давай-ка еще по рюмочке... А помнишь, Петя, Как ты на именины приподнес Аглае оду собственную, помнишь? "Богородице подобной нимфе и дриаде дубравы Новоселковской". Уж так смеялись мы... Ну как не помнишь, Петя? Тебе лет 10 было, Глаше 6. В тот год как раз мы с турком замирились, и я в отставку вышел... Оставайся, голубчик! Ну, ей-богу, чем не жизнь у нас?.. Вот и в журналах пишут, Петя, — Российское дворянство позабыло свой долг священный, почва, мол, крестьянство, совсем, мол, офранцузились, отсюда и разоренье, и социализм... Да-с, Петр Прокофьевич... Мы ведь здесь, в глуши почитываем тоже, ты не думай, что вот медведь уездный... Мы следим за просвещением, так сказать, прогрессом, гуманностью... А как же? Вот гляди — "Европы Вестник", "Пчелка", "Сын Отечества", да "Русский инвалид". Я сам читаю. Но больше для Аглаи... А забавно, я доложу вам, критики читать. Хотя оно подчас не все понятно, но так-то бойко... Вот барон Брамбеус в девятом номере отделяет — как то бишь его? — Кибиров (очевидно, из инородцев). Так и прописал — мол, господин Кибиров живописец пошлейшей тривиальности, а также он не в ладах с грамматикой российской и здравым смыслом... Нынче мы прочли роман Вальтера Скотта — "Иванго". Презанимательная, доложу вам, вещь, английская... А Глашенька все больше



стишками увлекается. Давала мне книжечку недавно — "Сочиненья в стихах и прозе Айзенберга". Только я, грешным делом, мало что там понял. Затеяливо уж очень и темно... Оно понятно — немец!.. Вася Шишкин у нас в кадетском корпусе отлично изображал, как немец пиво пьет. Такой шалун был. А ведь дослужился до губернаторства... Назад тому три года его какой-то негодяй в театре смертельно ранил... Был бы жив Столыпин, порядок бы навел... А ты, Петруша, случайно не из этих?.. То-то, нет... Грех, Петя, грех... И ладно бы купчишки, семинаристы, но ведь из дворянских, стариннейших семей — такой позор! Нет, не пойму я что-то вас, новейших... Да вот Аглая — вроде бы ничем Бог девку не обидел — красотою, умом и нравом, всем взяла, наукам обучена, что твой приват-доцент. Приданное — дай Боже всякой, Петя. А счастья нет... И все молчит, и книжки читает, и вздыхает... Года два назад из-за границы возвратился Навроцкий молодой, и зачастил он к нам. Всё книги привозил и ноты. Аглая ожила. А мне, Петруша, он как-то не понравился, но все же я б возражать не стал... А через две недели приезжает он под вечер какой-то тихий, сумрачный. А Глаша велит сказать, что захворала... После Палашку посылала, я приметил, с письмом к нему... И всё, Петруша, всё! Я спрашивал ее: "А что ж не ездит к нам больше Дмитрий Палыч?" — "Ах, оставьте, откуда знать мне, папенька!"... Вот, так-то... Э, Александр Викентьич, чур не спать! Давай-ка, брат, Опрокидонт Иваныч! Давайте, Саша, Петенька, за встречу! Как дьякон наш говаривал: "Не то, возлюбленные чада, оскверняет,

что входит к нам в уста, а что из уст
исходит!"... Да-с, голубчик... Презабавный
мне случай вспомнился — году'в 30-м...
Нет, дай Бог памяти... в 36-м.

Или в 39-м? Под Варшавой
наш полк стоял в то лето, господа.
Вообразите — пыльное местечко,
ученья бесконечные, жара
анафемская, скука — хоть стреляйся!
И никакого общества — поскольку
окрестные паны не то что бал
какой-нибудь задать — вообще ни разу
не пригласили нас, что объяснимо,
конечно, но обидно... Как обычно
мы собрались у прапорщика Лембке.
Ну, натурально, выпивка, банчишко.
Ничто, казалось бы, не предвещало
каких-либо событий... Но уже
к полуночи заметил я, что Бельский
рассеян как-то, молчалив и странен...
Но, впрочем, надобно вам рассказать
подробнее о нем. У нас в полку
он человек был новый — лишь неделю
из гвардии он был переведен.
За что — никто не знал. Ходили слухи
о связи романической, скандале,
пощечине на маскараде — толком
никто не знал... И каково же было
мое недоумение, когда
внезапно бросив карты... Э, готов
уже наш Александр Викентьич, эк он
рулады-то выводит... Заболтал
я вас совсем, простите старика.
Пора на боковую. Так сказать,
в объятия Морфея... Поздно, Петя...
Ну что ж, покойной ночи, господа.
Уснете вы надолго. Никогда
вам не проснуться больше. Никогда
в конюшнях барских не заржет скакун.
Трезор, и Цыган, и лохматый Вьюн
не встретят хриплым лаем пришлеца.
Чувствительные не замрут сердца
от песни Филомелы в час ночной.
И гувернер с зажженной свечой



не спустится по лестнице. И сад
загубят и богатства расточат.
И подпалят заветный флигелек.
И в поседевший выстрелит висок
наследник бравый. И кузина Кэт
устроится пишбарышней в Совет.
В тот самый год, России черный год,
о коем вам пророчествовал тот
убитый лейб-гусар. И никогда
не навредит брусничная вода
соседу-англоману. В старый пруд
глядит луна — в солярку и мазут.
И линия электропередач
гудит над кровлей минводхозных дач.
Катушка из-под кабеля. Труба
заржавленная. Видно, не судьба.
Видать, не суждено. Мотоциклет
протарахтит и скроется. И свет
над фабрикою фетровой в ночи...
Прощай, ма шер. Молчи же, грусть, молчи.



IV

ПОСЛАНИЕ ЛЕНКЕ

Тут вошла девушка лет восемнадцати, круглолицая, румяная, с светлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенную дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. "Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава Богу, ученье не уйдет; успеет накричаться". — Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. "Что это, мой батюшка? — сказала ему жена, — Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься". — А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузьмич, — я был занят службой: солдатушек учил". — "И, полно! — возразила капитанша, — Только слава, что солдат учишь:

ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да Богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол”.

А. С. Пушкин

Леночка, будем мещанами! Я понимаю, что трудно, что невозможно практически это. Но надо стараться. Не поддаваться давай... Канарейкам свернувши головки, здесь развитой романтизм воцарился, быть может, навеки. Соколы здесь, буревестники все, в лучшем случае — чайки. Будем с тобой голубками с виньетки. Среди клеткота злого будем с тобой ворковать, среди голодного волчьего воя будем мурлыкать котятами в теплом лукошке.

Не эспатаж это — просто желание выжить.

И сохранить, и спасти... Здесь, где каждая вшивая шавка хрипло поёт под Высоцкого: “Ноги и челюсти быстры, мчимся на выстрел!” И, Господи, вот уже мчатся на выстрел, сами стреляют и режут... А мы будем квасить капусту, будем варенье варить из крыжовника в тазике медном, вкусную пенку снимая, назойливых ос отгоняя, пот утирая блаженный, и банки закручивать будем, и заставлять антресоли, чтоб вечером зимним, крещенским долго чай распивать под уютное ходиков пенье, под завыванье за окнами блоковской вьюги.

Только б хватило нам сил удержаться на этом плацдарме, на пятачке этом крохотном твердом среди хлябей дурацких, среди стихии бушующей, среди девятого вала канализации гордой мятежной, прорвавшей препоны и колобродящей 70 лет на великом просторе, нагло взметая зловонные брызги в брезгливое небо, злобно куражась... О, не для того даже, не для того лишь, чтобы спастись, а хотя б для того, чтобы в зеркало глядя, не испугались мы, не ужаснулись, Ленуля.



Здесь, где царит романтизм развитой, и реальный, и зрелый, здесь, где штамповщик любой, пэтэушник, шофер и нефтяник, и инженер, и инструктор ГУНО, и научный сотрудник, каждый буквально позировать Врубелю может, ведь каждый здесь Клеветой искушал Провиденье, фигнею, мечтою каждый прекрасное звал, презирал Вдохновенье, не верил здесь ни один ни любви, ни свободе, и с глупой усмешкой каждый глядел, и хоть кол ты теши им — никто не хотел здесь благословить ну хоть что-нибудь в бедной природе.

Эх, поглядеть бы тем высоколобым и прекраснородным,
тем, презиравших филистеров, буршам млтежным,
полюбоваться на Карлов Мооров в любой подворотне!
Вот вам в наколках Корсар, вот вам Каин фиксатый и Манфред,
вот, полюбуйте, Мельмот пробирается нагло к прилавку,
вот вам Алеко поддаты, супругу свою матерящий!
Бог ваш лемносский сковал эту финку с наборною ручкой!
Врет Александр Алексаныч, не может быть злоба святою.

Здесь на любой танцплощадке как минимум 2 Карменситы,
здесь в пионерской дружине с десяток Манон, а в подсобке
здесь Мариула дарит свои ласки, и ночью турбаза
стонет, кряхтит Клеопатрой!.. И каждый студентик
литинститута здесь знает — искусство превыше морали.
На семинаре он так и врезает надменно: "Эстетика
выше морали бескрылой, мещанской!" И мудрый Ошанин,
мэтр седовласый, ведущий у них семинары, с улыбкой
доброму слушает и соглашается: "В общем-то да".
В общем-то да... Уж конечно... Но мы с тобой все-таки будем
Диккенса вслух перечитывать, и Честертона, и, кстати,
"Бледный огонь", и "Пнина", и "Лолиту", Ленуля, и Леву
будем читать-декламировать. Бог с ним, с де Садом...

Но и другой романтизм здесь имеется — вот он, голубчик,
вот он сидит, и очки протирает, и все рассуждает,
все не решит, бедолага, какая-токая дорога
к Храму ведет, балалайкой бесструнно все тарыхтит он.
И прерывается только затем, чтобы с липкой клеенки
сбить таракана щелчком — и опять о Духовности, Лена,
и медитирует, Лена, над спинкой минтая.

А богоборцы, а богоискатели? Вся эта погань,
вся достоевщина рóдная? Помнишь, зимою в Нарыне
в командировке я был. Там в гостинице номер двухместный,
без унитаза, без раковины, но с эстампом ярчайшим,
целых 3 дня и 2 ночи делил я с каким-то усатым
мелиоратором, кажется, нет, гидротехником... В общем
что-то с водою и с техникой связано... Был он из Фрунзе,
но не киргиз, а русак коренной. Поначалу спокойно
жили мы, Сопот смотрели, его угощал я индийским
чаем, а он меня всякой жратвою домашней. Про сына
что-то рассказывал и про начальников. Но на вторые
сутки под вечер явился он с другим каким-то, киргизом,
как говорится, ужратый в жопень. И еще раздавили

(впрочем, со мною уже) грамм 400 водки "Кубанской". Кореш его отвалил. И вот тут началось.

Начал икать он, Ленуля, а после он стал материться. Драться пытался, стаканом бросался в меня, и салагой хуевым он обзывал меня зло, и чучеком ебанным. После он плакал и пел — как в вагонах зеленых ведется. Я же — как в желтых и синих — помалкивал. "В Бога ты веришь? — вдруг спросил он, — Я, бля, говорю, в Бога веришь?" — "Ну верю". — "Верю! Нет, врешь, ты, бля-сука, не веришь!.. У, ёбанный корень! Не понимаешь, ты, блядь! Я вот верю. Я, сука-бля, верю! Но не молось ни хуя! Не, ты понял, бля? Понял, суконка?" — "Понял я, понял". — "А вот не пизди. Ни хера ты не понял. Леха, бля, Шифер не будет стоять на коленях!" Ей-богу не сочинил я ни капельки, так вот и было, как будто это Набоков придумал, чтоб Федор Михальча насмерть несправедливо и зло задразнить. Так давай же стараться! Будем Ленулька, мещанами — просто из гигиенических соображений, чтоб эту паршу, и коросту, и триппер не подхватить, не поплыть по волнам этим, женка.

Жить-поживать будем, есть да похваливать, спать-почивать будем, будем герани растить и бегонию, будем котлетки кушать, а в праздники гусика, если ж не станет продуктов — хлебушек черненький будем жевать, кипяток с сахаринчиком. Впрочем, Бог даст, образуется все. Ведь не много и надо тем, кто умеет глядеть, кто очнулся и понял навеки, как драгоценно все, как все ничтожно, и хрупко, и нежно, кто понимает сквозь слезы, что весь этот мир несуразный бережно надо хранить, как игрушку, как елочный шарик, кто осознал метафизику влажной уборки.

Выйду я утром с собачкою нашей гулять и, вернувшись, зонтик поставив сушиться, спрошу я: "Елена Иванна, в кулинарии на Волгина все покупали ромштексы. Свежие вроде бы. Может быть взять?" — "Нет, ромштексы не надо. Сало одно в них. Нам мама достала индейку. А что это как вы чудно произнесите — кулинария?" — "А что ж тут, женка, чудного, так все говорят". — "Кулинария надо произносить, Тимур Юрьич, по правилам". — "Ну насмешила! Что еще за кулинария?" — "А вот мы посмотрим". — "Давайте. Вот вам, пожалуйста!" — "Где?.. Кулинария... Ну я не знаю... Здесь опечатка, наверно".

И как-нибудь ночью ты скажешь:
"Кажется, я залетела..." Родится у нас непременно
мальчик, и мы назовем его Юрой в честь деда или Ваней.
Мы воспитаем его, и, давай, он у нас инженером
или врачом, или сыщиком, Леночка, будет.



VI

ДЕНИСУ НОВИКОВУ. ЗАГОВОР

Яркая луна озаряла обезображенные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой русский крестьянин, сильный и здоровый малый лет Двадцати. Но, взглянув на третьего, я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания: это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей приставший к Пугачеву. Над ними прибита была черная доска, на которой белыми крупными буквами было написано: "Воры и бунтовщики". Гребцы смотрели равнодушно и ожидали меня, удерживая плот багром. Я сел опять в лодку. Плот поплыл вниз по реке. Виселица долго чернела во мраке.

А. С. Пушкин

Слышишь, капает кровь?

Кап-кап.

Спать. Спать. Спать.

За окном тишина. И внутри тишина.

За окном притаилась родная страна.

Не война еще, Диня, еще не война.

сквозь гардины синее луна.

Тянет холодом из-за полночных гардин.

Надо б завтра заклеить. А, впрочем, один

только месяц остался, всего лишь один

и весна... Не война еще, Диня.

Не война, ни хрена, скоро будет весна...

Слышишь? Снова слышалось, блин.



Слышишь, капает кровь?
Слышишь, хлюпает кровь?
Слышишь, темною струйкой течет?
Слышишь, горе чужое кого-то ебет?..
Сквозь гардины синее луна.
Спать пора. Скоро будет весна.
Спать пора. Новый день настает.

Нынче холодно очень. Совсем я продрог.
В коридоре сопит лопухий щенок.
Обгрызает, наверное, Ленкин сапог.
Надо б трепку задать.
Неохота вставать.
Ничего, ничего. Нормалек.

Тишина, тишина.
Темнота, темнота.
Ничего, ничего.
Ни фига. Ни черта.
Спать пора. Завтра рано вставать.

Как уютно настольная лампа горит.
и санузел урчит.
Отопление журчит.
И внезапно во тьме холодильник рычит.
И опять тишина, тишина.
И луна сквозь гардины, луна.

Наверху у соседей какой-то скандал.
Там, как резаный, кто-то сейчас заорал.
Перепились, скоты... Надо спать.
Завтра рано вставать. Завтра рано вставать.
Лифт проехал. Щенок заворчал.
Зарычал и опять замолчал.

Кап да кап... Это фобии, комплексы, бред.
Это мании. Жаль, что снотворного нет.
Седуксенчику вмазать — и полный привет.
Кап да кап. Это кровь. Кап да кап.

Неужели не слышишь? Ну вот же? Сквозь храп,
слышишь? Нет? Разверзается хлябь.
И волною вздымается черная кровь.
Погоди, я еще не готов.



h.g.

Погоди, не шуми ты, Дениска... Тик-так.

Тишина. За гардинами мрак.

Лишь тик-так, лишь напряг, лишь бессмысленный страх.

За гардинами враг. За гардинами враг.

Тишина. За гардинами враг.

Тик да так. Кап да кап. Тик да так.

Знать вконец охуела моя голова.

Довели, наконец, до психушки слова.

Вот те счастье, Дениска, и вот те права.

Наплевать бы, да нечем плевать.

Пересохла от страха щербатая пасть.

Чересчур я замерз, чересчур я очкаст.

Как вблизи аномалии чуткий компас

всё я вру. И Великий Агас

и Вселенский Мандраж окружает кровать.

Окружает, подходит, отходит опять...

Может, книжку какую на сон почитать?

Или что-нибудь посочинять?

Надо спать. Завтра рано вставать.

Слышишь, кровь, слышишь, кровь,

слышишь, пенится кровь,

слышишь, льется, вздымается кровь?

Не готов ты еще? Говоришь, не готов?

Говоришь, надо вызвать ментов?

Вызывай. Только помни про кровь.

Кровь гудит, кровь шевелится, кровь говорит,

и хрипит, и стучится, кипит-голосит,

и куражится, корчится, кровь не простит.

Кровь не спит, говорю я, не спит!

Ах, как холодно. Как неохота вставать.

Кровь крадется в ночи, аки зверь, аки тать,

как на Звере Багряном Вселенская Блядь.

Слышишь, топот? Опять и опять

в жилах кровь начинает играть.

Не хватайся за крестик нательный в ночи.

"Отче наш" с перепугу во тьме не шепчи.

И не ставь пред иконой, Дениска, свечи.

Об линолеум лбом не стучи.



Слишком поздно уже, слишком поздно, Денис!
Здесь молись не молись, и крестись не крестись,
и постись, и в монахи стригись —
не поможет нам это, Денис!

Он не сможет простить, Он не сможет простить,
если Бог — он не может простить
эту кровь, эту вонь, эту кровь, этот стыд.
Нас с тобой он не может простить.

И одно нам осталось — чтоб кровь затворить,
будем заговор древний творить.
Волхвовать, заговаривать, очи закрыть,
говорить, говорить, говорить!

Повторяй же:
На море на том окияне,
На Хвальнском на море да на окияне,
там, Дениска, на острове славном Буяне,
среди темного лесу, на полной поляне,
там, на полой поляне лежит,

лежит бел-горюч камень прозваньем Алатырь,
там лежит Алатырь бел-горючий заклятый,
а на том Алатыре сидит,

красна девка сидит, непорочна девица,
сидит красна девица, швея-мастерица,
густоброва, Дениска, она, яснолица,
в ручке белой иголку держит.

В белой рученьке вострую держит иголку
и вдевает в булатную тую иголку
драгоценную нить шемаханского шелку,
рудожелтую, крепкую нить,
чтоб кровавые раны зашить.

Завяжу я, раб Божий, шелковую нить,
чтобы всех рабов Божиих оборонить,
чтоб руду эту буйную заговорить,
затворить, затворить, затворить!

Ты будат мой, булат мой, навеки отстань,
ты, кровь-матушка, течь перестань, перестань.
Слово крепко мое. Ты уймись-прекратись,
завторись мать-руда, затворись.



ЛИТЕРАТУРНАЯ СЕКЦИЯ

В сей крайности пришло мне на мысль, не попробовать ли самому что-нибудь сочинить? Благосклонный читатель знает уже, что воспитан я был на медные деньги, и что не имел я случая приобрести сам собою то, что было раз упущено, до 16 лет играя с дворовыми мальчишками, а потом переходя из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, проводя время с жидами да с маркитантками, играя на ободранных билиярдах и маршируя в грязи.

К тому же быть сочинителем казалось мне так мудроно, так недостижимо нам, непосвященным, что мысль взяться за перо сначала испугала меня. Смел ли я надеяться попасть когда-нибудь в число писателей, когда уже пламенное желание мое встретиться с одним из них никогда не было исполнено? Но это напоминает мне случай, который намерен я рассказать в доказательство всегдашней страсти моей к отечественной словесности.

А. С. Пушкин

Я не знаю, к кому обращаюсь —
то ли к Богу, а может к жене...
К Миле, Семе... Прости мне, прощаюсь...
К жизни что ли? Да нет, не вполне.

Но пойми, ты же все понимаешь,
смерть не тетка, и черт мне не брат.
Да, я в это выгрался, но знаешь,
что-то стало мне стыдно играть.

Не до жиру. Пора наступает.
Не до литературы, пойми.
Что-то пропадом все пропадает,
на глазах осыпается мир.

Ты пойми, мне уже не до жиру.
Наступа... Наступила пора.
Обернулась тяжелая лира
бас-гитарой кабацкой. Пора.

Ах ты, литературочка, лапушка,
Н. Рубцов, Д. Самойлов и я.



Так лабайте под водочку, лабухи.
Все равно не спасти ни хуя.

Помнишь, в фильме каком-то эсеры
разгулялись, и злой боевик
сбил пенсне трусоватому Штерну,
изрыгая презрительный крик:

"Ах ты, литературная секция!!"
Так дразнил меня друг Кисляков
в старших классах, и руку на сердце
положа — я и вправду таков.



Это стыдно — но ты же свидетель,
я не этого вовсе хотел!
Я не только ведь рифмы на ветер,
я и сам ведь, как дурень, летел!

Я ведь не в ЦДЛ собирался
порционные блюда жевать,
не для гранок и версток старался,
я, ты знаешь, я, в общем, спасать,

ну не смейся, ну хватит, спастись
и спасать я хотел, я готов
расплатиться сполна, расквитаться
не словами... Но что кроме слов

я имею? И этой-то мелочью
я кичился, гщеславный дурак...
В ресторанчике, ах, в цздээлочке
вот те фирменных блюд прејскурант:

и котлеточка одноименная,
за 2-20 с грибочками рулет,
2-15 корейка отменная,
тарталеточки с сыром... Поэт!

Что, поэт? Закозлило?... Пожалте
Вашу книжечку нам надписать!..
Пряча красный блокнотик под партой,
для того ль я учился писать?!

Ах ты, секция литературная,
отпусти ты меня, а не твой!
Ах ты, аудиторья культурная,
кыш отсюда! Не стой над душой!





Стыдно... "Здравствуйте! Вы кто по профессии?"
— "Я? Поэт". — "Ах, поэт". — "Да, поэт!
Не читали? Я, в общем, известный
и талантливый, кстати". — "Да нет,
не читал". — "А вот Тодес в последнем
"Роднике"... Но клянусь, не о том
я мечтал в моей юности бедной,
о другом, о каком-то таком,

самом главном, что все оправдает
и спасет, ну хоть что-то спасет!
Жизнь поставит и смерть обыграет,
обмучляет, с лихвою вернет.

Так какая же жалкая малость,
и какая бессильная спесь
эти буковки в толстых журналах,
что зовутся поэзией здесь!

Нет, не ересь толстовская это,
не хохла длинноносого бзик —
я хочу, чтобы в песенке спетой
был всемогущий вот этот язык!

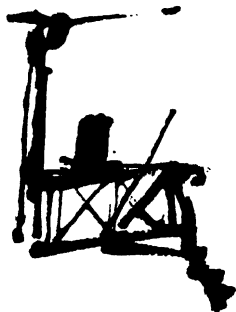
Знаю, это кощунство отчасти
и гордыня. Но как же мне быть,
если, к счастью — к несчастью — к счастью,
только так я умею любить?

Потому что далеко-далеко,
лет в 13 попал в переплет,
фиолетовым пламенем Блока
запылала прыщавая плоть.

Первых строчек пьянящая мерность.
Филька бедненький был не готов,
чтобы стать почитателем верным
вот таких вот, к примеру, стихов:

"Этот синий, таинственный вечер
тронул белые струны берез,
и над озером... Дальше не помню...
Та-та-та-та мелодия грез!"

И еще, и еще вот такие...
Щас... Минутку... "...в тоске роковой



попираю святыни людские
я своею безумной ногой!"...

Лет с 13 эти старанья.

Лет в 15 – сонетов венки.

И армейские пиздострадания –
тома на два сплошной чепухи.

И верлибры, такие верлибры –
непонятны, нелепы, нежны.
Кольханье табачного нимба.
Чуткий сон моей первой жены.

И холодных потов утиранье,
рифмы типа "судьбе-КГБ",
замирания и отмиранья,
смелость-трусость, борьбе-КГБ.

Но искал я, мятежный, не бури,
я хотел ну хоть что-то спасти...
Так вот в секцию литературную
я попался. Прощай же. Прости.

Вот сижу я и жду гонорара,
жду, что скажут Эпштейн и Мальгин...
Лира, лира моя, бас-гитара,
Аполлонишка, сукин ты сын.

Ничего я не спас, ничего я
не могу – все пропало уже!
Это небо над степью сухою,
этот запах в пустом гараже!

Мент любой для спасенья полезней,
и фотограф, и ветеринар!
Исчезает, исчезло, исчезнет
все, что я, задыхаясь, спасал.

Это счастье, глупости, счастье,
это стеклышко в сорной траве,
это папой подарены ласты,
это дембель, свобода, портвейн

"3 семерки", и нежное ухо
и шершавый собачий язык,
от последних страниц Винни-Пуха
слезы помнишь? Ты вспомнил? И блик



фонаря в этих лужах, и сонный
теплый лепет жены, и луна!
Дребезжал подстаканник вагонный,
мчалась, мчалась навеки страна.



И хрустальное утро похмелья
распахнуло глаза в небеса,
и безделье, такое безделье —
как спасти это, как описать?

Гарнизонная библиотека,
желтый Купер и синий Марк Твен,
без обложки "Нана" у Олега...
Был еще "Золотистый" портвейн,

мы в пивной у Елоховской церкви
распивали его, и еще
вдруг я вспомнил Сопрыкину Верку,
как ее укрывал я плащом

от дождя, от холодного ливня,
и хватал ее теплую грудь...
И хэбэшку, ушитую дивно,
не забудь, я молю, не забудь!

Как котенок чужой забирался
на кровать и все время мешал,
как в купе ее лик озарялся
полустанками, как ревновал
я ее не к Копернику, к мужу,
как в окошке наш тополь шумел,
как однажды, обрызган из лужи,
на свидание я не успел.

Как слезинка ее золотая
поплыла, отражая закат.
Как слетел, и слетает, слетает
липов цвет на больничный халат...

Все ты знаешь... Так что ж ты... Прощай же!
Ухожу. Я уже завязал...
Не молчи, отвечай мне сейчас же,
для чего ты меня соблазнял?

Что стоял я, дурак, наблюдая,
как воронка под нами кружит,
чтоб сжимал кулачки, пытаюсь
удержать между пальцами жизнь?..



Был у бабушки коврик, ты помнишь?
Волки мчались за тройкой лихой.
А вдали опускался огромный
диск оранжевый в снег голубой.

Так пойми же — теперь его нету!
И не надо меня утешать.
Волки мчались по санному следу.
Я не в силах об этом сказать.

Значит, все-таки смерть неизбежна,
и бессмысленно голос поет,
и напрасна прилежная нежность.
значит, все-таки время идет...

На фига ж ты так ласково смотришь?
На фига ты балуешь меня?
Запрети быть веселым и гордым —
я не справлюсь, не справился я!

На фига же губой пересохшей
я шепчу над бумагой: "Живи!",
задыха... задыхаясь, задохшись
от любви, ты же знаешь, любви!

И какому-то Гласу внимаю,
и какие-то чую лучи...
Ты же зна... Ты же все понимаешь!
Ты же знаешь! Зачем ты молчишь?

Все молчишь, улыбаешься тихо.
Папа? Дедушка? Кто ты такой?..
Может, вправду еще одну книгу?
Может, выйдет?.. А там, над рекой,

посмотри же, вверху, над Коньково,
над балхашскою теплой волной,
над булунскою тундрой суровой,
надо мной, над женой, над страной,

над морями, над сенежским лесом,
где идет в самоволку солдат,
там, над фабрикой имени Лепсе,
охуительный стынет закат!

КОНЕЦ



Рисунки Резо Габриадзе

СОДЕРЖАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

- Вл. Новиков.* Детский мир. 3
В.И.Порудоминский. Начало марта.
Семейные мелочи 1953 года. 8

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

- Сергей Прокофьев.* ДНЕВНИК-27 80

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

- Олег Давыдов.* "Война и Мир". 106
Анри Волохонский. О Калидасе 133
Э.Лимонов. Красавица, вдохновлявшая поэта. 139
А. Жолковский. Лимонов на литературных Олимпикс. 150

В САДАХ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

- Зиновий Зинник.* Незванная гостья. 161

СВОБОДУ ПУШКИНУ!

- Тимур Кибиров.* Послание Ленке и другие сочинения 183



Цена номера 75 фр. фр.

Подписка в редакции на 4 номера — 260 фр. фр.

Пересылка за счет подписчика.

